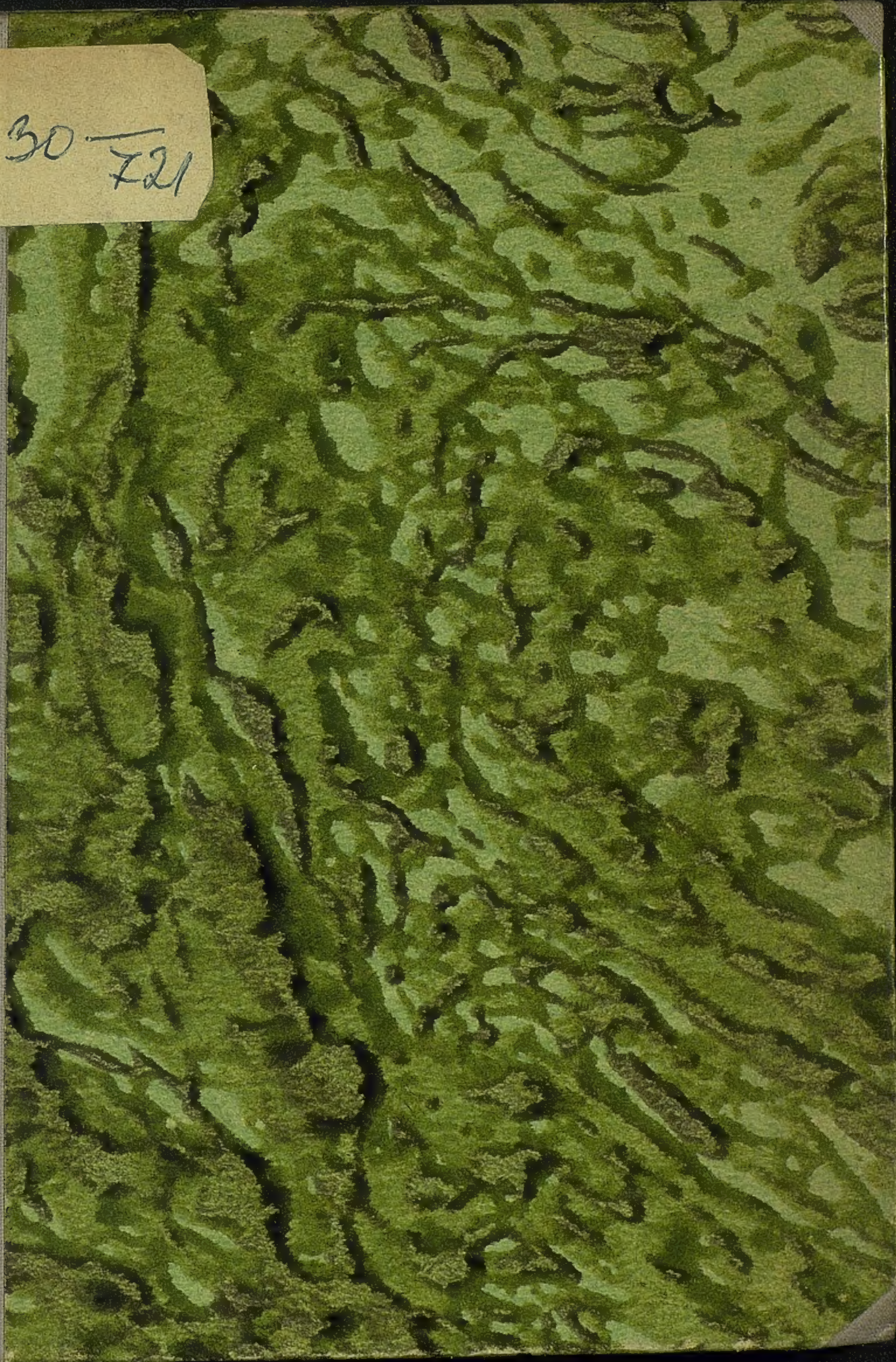
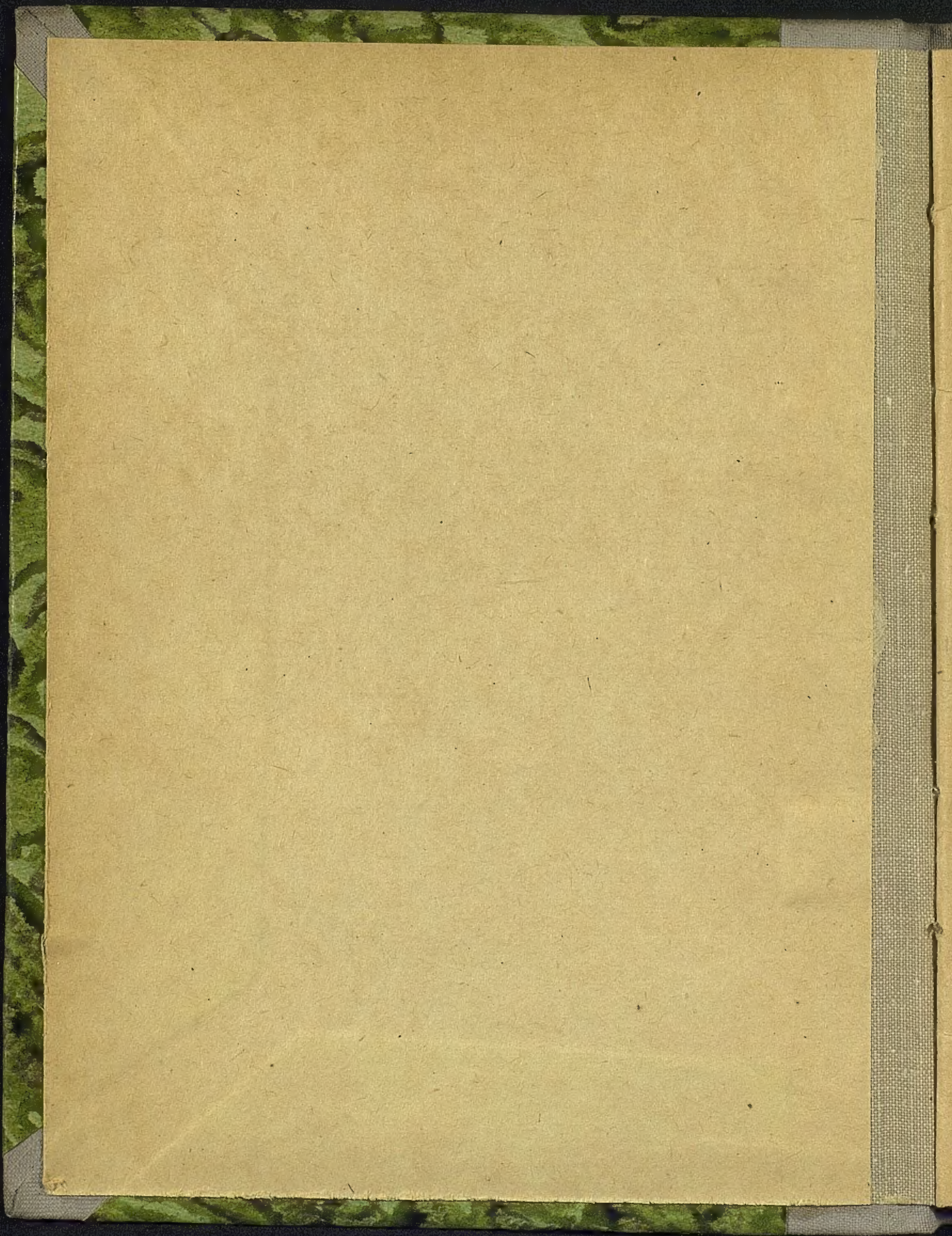

Z 30 — 721

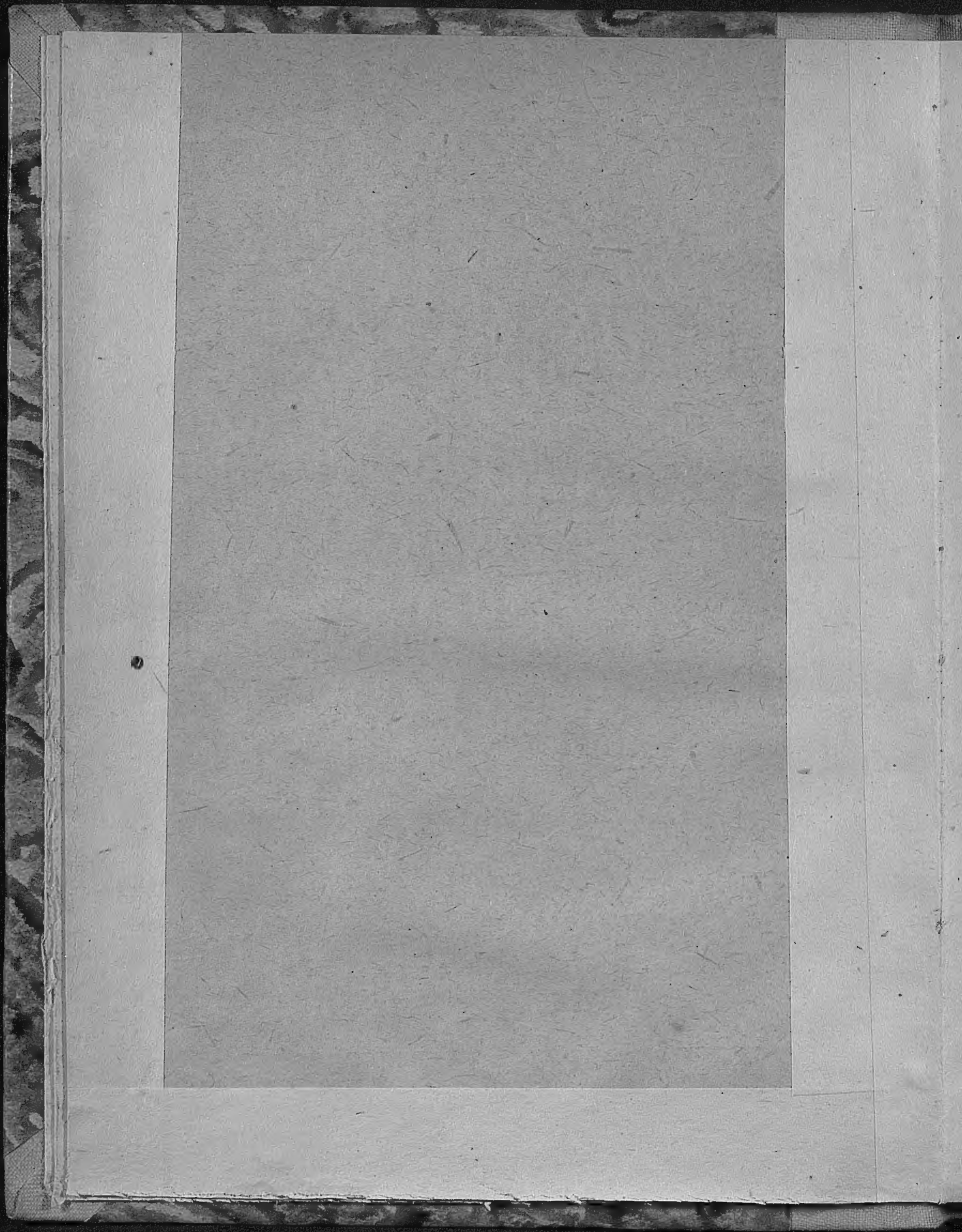


А. ЛАЦКО

ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА!



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА .. 1925 .. ПЕТРОГРАД



А. ЛАЦКО

ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА!

перевод Е. Л. Овсянниковой,

под редакцией А. Н. Горлина

вступительная статья С. Цвейга



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА... 1923... ПЕТРОГРАД

Гиз. № 1198. Отпеч. 7.000 экз.
„Печатный Двор“ Тип. Гос. Изд.
Петроград. Гатчинская, 26.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

„До последнего человека!“ — не самостоятельное произведение А. Лацко: это — третья глава его большого романа „Суд над войной“, в которой она называется „Арьергард“. По характеру своего письма,—поразительно яркого, красочного и волнующего своей жуткой правдивостью, — эта глава настолько хороша, настолько резко выделяется на фоне остальной книги А. Лацко, что некоторые европейские издатели (в Германии, во Франции, в Англии и в Швейцарии) выпустили ее отдельно. Мы нашли целесообразным последовать их примеру, предприняв, вместе с тем, издание и всего романа А. Лацко.

Герой предлагаемой книги, Георгий Гадский, — сын начальника маленькой железнодорожной станции в южной Германии. Он талантлив, энергичен и к тридцати трем годам своей жизни становится

знаменитым пианистом, достигнув всего, к чему стремился... Но вот грянула война. Зараженный, как и все, ядом шовинистического патриотизма, Гадский бросает все—искусство, любимую женщину, концерты — и поступает добровольцем в армию. Сознание совершонного им безумства пронизывает его, как только он переступает порог казармы. Он видит грубую ловушку милитаризма, в которую его завлекли громкими, но пустыми словами; он невыносимо страдает от потери своей человеческой личности, превращенной в пушечное мясо, в манекен, который должен совершать, во имя войны, страшные насилия над такими же, как и он, обманутыми людьми...

Упоминаемый в книге поэт и писатель Вейлер подружился с Гадским в роте, куда их обоих назначили. Во время атаки, он, по приказанию начальника, прикалывает раненого француза и сходит с ума.

А. Г.

АНДРЕАС ЛАЦКО.

Немного слышали мы о нем до войны. Его знали только по фамилии, как интересного и живого писателя. Было известно, что какая-то его пьеса шла однажды где-то на сцене, что там-то был напечатан его роман. Память хранила лишь воспоминание о его имени, промелькнувшем в какой-то газете, или об отзыве о его книге. Но ясного и определенного представления мы о нем не имели.

И вдруг появились его „Menschen im Kriege" („Люди на войне") — и ударили по сердцам, как откровение. Я помню до сих пор и никогда не забуду момента, когда я в первый раз прочитал эту вещь. Это было в Австрии, в стране, отрезанной от всего мира. Мы сидели, сжав кулаки и стиснув зубы. Слово — наша сила — молчало в бессилии, и мы,—несколько здравых умом людей среди пагубного безумия миллионов сознательных существ, — мы, словно глухонемые, могли объясняться только таинственными знаками. И вот, совершенно неожиданно до нас долетела весть, что в Швейцарии вышла в свет книга австрийского офицера, сказавшая, наконец, правду. У нас вы-

рвался радостный крик: закованная истина разбила свои цепи, прорвала все цензурные баррикады, и голос ее услышал весь мир! И, полные нетерпения, мы стали ждать эту запретную книгу, которую бдительно подстерегали на границе жандармы, чтобы она не отравила так заботливо взлелеянную ложь великого энтузиазма, чтобы ни одно дуновение вольного воздуха не оживило нашу тяжелую атмосферу. Но вот, наконец, один товарищ,—Бог знает, каким контрабандным путем,—привез нам долгожданный томик. Я вижу еще сейчас этот единственный в своем роде экземпляр: обложка его была сорвана и заменена другой, вполне безобидной, а все страницы, прошедшие через столько торопливых и жадных рук, были истерты и истрепаны. И я вспоминаю еще о том, как все мы читали эту книгу: возбужденные, в дивном экстазе братства, с пылающими щеками, словно дети, делавшие что-то запретное. И это было понятно: нам казалось, что мы услышали одновременный крик миллионов людей, вырвавшийся, словно струя крови, из горла человечества; мы слышали, наконец, правду, которую только подозревали в своем мучительном молчании. Мы чувствовали, что наш враг — война — был пригвожден к позорному столбу; что наши генералы, сновавшие с видом повелителей в автомобилях по улицам и небрежно отвечавшие на раболепные и боязливые приветствия своих лакеев, были изображены на этих страницах без своих блестящих мундиров и, совершенно обнаженными, выставлены напоказ во всем своем ничтожестве. И то, что в нас оставалось еще от националистической гордости, возликовало: мы тоже послали миру, всечеловече-

скому братству — вестника горькой хулы и священного гнева.

Вот чем была для нас эта книга. Мы еще не знали тогда имени смелого автора, но с той минуты, когда оно стало нам известным, Андреас Лацко сделался для нас, и как человек и как писатель, навеки незабвенным. Он обладал лучшею силою поэта — жалостью (вытекавшей у него из совместного страдания со своими ближними), и эта сила, на фоне чудовищной европейской катастрофы, проявлялась с такой стихийной мощью, что повергала в трепет и волнение каждого и прошибала даже самых толстокожих. Тут уже не человек взывал к человеку: тут был вопль ужаса самого человечества. Перед судом истории предстал неподкупный свидетель, чей искренний голос повествовал о муках людей, а за ним толпились десятки миллионов живых и миллионы мертвых, от имени которых он говорил. И говорил неустанно. В своей книге: „Friedensgericht“ („Суд над войной“) Лацко повторил свое обвинение; но на этот раз он сделал это тоном уже более спокойным и объективным, более колким и властным, хотя все с тою же упорной горечью очевидца, наблюдавшего и смерть и страдания. И странное дело: уже давно рухнула сильнейшая в мире сила, а обвинение писателя все еще живет, подобно документам, переживающим государей, и поэтам, переживающим государства. И сказанное им слово не утратит ни на миг своей мощи. И громче, чем когда-либо, оно звучит именно теперь, когда героическая ложь катится, словно снежный ком, по лицу земли, и когда новые человеческие ряды приближаются к той бездне, куда было низвергнуто и где погре-

бено наше поколение — в невиданном мраке неслыханных мук.

Защитник страждущих, поборник вечной свободы бессмертного человека, — Лацко, решив взять на себя эту роль, уже не может от нее отречься, как король от престола, не может подать в отставку, как случайный министр. Он бессилен дать задний ход машине, он не может унизиться до мелких литературных занятий, изготовляя рассказы для услады буржуазной публики; он не может этого сделать, ибо все, что он отныне напишет, должно стать достоянием всего человечества, в самом глубоком смысле этого слова: человечества единого и нераздельного. И мы смотрим, поэтому, в сторону Лацко с братским ожиданием. Наша признательность и наше доверие избирают его депутатом в незримый парламент Европейских Соединенных Штатов, где он будет защищать то, что стало смыслом и целью нашей жизни, — братство всех народов.

Стефан Цвейг.

Зальцбург, 1919 г.

„ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА!"

Первым, у кого зародилось подозрение, был маленький портной из второго взвода, — „комический певец", как его прозвали в батальоне за его горбатый, восточного типа, нос и ноги колесом. Получив приказ сопровождать раненого, он вернулся только к ночи, потому что санитарный пункт исчез. После долгих поисков, портному пришлось доверить своего совершенно обессиленного товарища какой-то проезжавшей военной подводе. Ничего больше, пока его окружала толпа любопытных, он не хотел говорить; но несколько минут спустя, встретив в траншее Георга Гадского и убедившись, что поблизости никого не было, он засыпал его настоящим градом тревожных новостей, сопровождая свою речь нервной жестикуляцией.

Почему убрали санитарный пункт? Почему все дороги усеяны отступающими колоннами? А главное: почему внезапно опустел, словно кладбище в полночь, дворцовый парк, тогда как обычно он кишел офицерами и денщиками? Почему? Да, почему? Потому, очевидно, что тонкий кордон

аванпостов, еще находившихся в окопах первой линии, был уже обречен на съедение воронам.

— Да, да, на корм птицам, говорю я вам! Это — крохи, которые оставляют кредиторам после злостного банкротства! Вы увидите, что я прав! Завтра, в это время, все мы будем покойниками. Когда рассеется туман, представление будет кончено. Берегитесь!

Этот тощий, со впалыми щеками еврей, несмотря на то, что его глаза мигали от испуга на его хитром лице, выпалил свой рапорт и свои соображения, как хорошо выученный урок, и, в своем пылу, даже оттиснул Гадского в самый далекий угол траншеи. Его худые руки болтались в пространстве, как крылья летучей мыши. Издали можно было бы подумать, что он хватает за горло своего собеседника.

Гадский слушал сначала его грозный рассказ, пожимая плечами. Он любил этого маленького чудака и находил вполне естественным, что эта мокрая курица, просидевшая всю свою жизнь за портновским прилавком, потеряла голову, неожиданно попав в атмосферу опасности и смерти. И только позднее, с наступлением ночи, когда не оказалось фуражиров и был дан приказ раздать патроны, он вспомнил пророческие слова „певца". Деланная покровительственная улыбка слетела с его губ, и он заскрежетал зубами, когда портной, как зловещая птица, пугливо пронесся мимо него и пробормотал на своем еврейском жаргоне:

— Ну, что я вам говорил?

Желая рассеяться и прогнать свои мрачные предчувствия, Гадский зашел в ближайшую землянку, где, по случаю чьих-то именин, даже

закоренелые скряги вытащили свои запасы продовольствия — плод патриотических даров их мирных соотечественников. Но шум и вид веселившихся людей были ему не по душе, и он скоро вернулся в свой окоп. Приткнувшись одиноко в угол, он напрягал всю силу своей воли, чтобы побороть охватившую его странную нервность. Но в голове у него словно пустили в ход кинематограф; на экране его мозга перед ним мелькали самые невероятные картины: отчаянная схватка с неприятелем, рукопашный бой, взрывы снарядов... Вот тюркос, сверкая белками, нагнулся над раненым и согревает свои окоченелые от холода пальцы в потоках его крови... Потом перед ним поплыли тысячи слышанных им мимоходом страшных рассказов, которым он всегда внимал с презрительной улыбкой, но которые казались ему в эту минуту действительностью... Его разум был бессилен совладать с его возбужденными до крайности чувствами.

На беду, Гадскому пришлось ровно в полночь итти в караул. Там, в передовой траншее, чувствуя себя как бы висящим на конце веревки между друзьями и врагами, стиснутый со всех сторон густою тьмою, он окончательно поддался бреду своего воображения. С монотонной жалобой пробивался сквозь мешки с землею дождь и капал ему на каску с раздражающей регулярностью, дергая его нервы, как струны гитары. Неумолчный концерт каких-то трудно уловимых звуков и шорохов, к которым присоединялись бульканье воды и стук капель, вызывал в нем представление о какой-то очень близкой опасности. Туман еще усилил это настроение: он быстро окутал своим

покровом все смутные формы и накинул, в несколько секунд, волнистые ткани на колья проволочных заграждений, словно подавая неприятелю сигналы! Напрасно старался Гадский освободиться от одолевавших его мрачных впечатлений! Целые полосы водяных паров ползли плотной массой по земле и, заполняя амбразуры окопа, приближались к нему с каким-то подозрительным треском. Минутами у Гадского кровь застывала в жилах. Ему начинало казаться, сидя в глубокой яме, что его собственное дыхание спускалось к нему откуда-то сверху. Вцепившись пальцами в винтовку, он ясно вдруг увидел, сквозь узкую бойницу траншеи, блеск чьих-то чужих глаз!..

Гадский взглянул на светящийся циферблат своих часов-браслетки; стрелки показывали половину первого: он выстоял, значит, только четверть своего ужасного дозора... Внезапно туман, подхваченный порывом ветра, поднялся так высоко, что перед окопом неожиданно развернулось, словно пустая сцена, все лежавшее перед ним поле. Знакомый вид оборонительных сооружений и холмов сразу успокоил Гадского. Страшное биение в висках улеглось. Он всматривался в окружающий пейзаж, как человек, снова увидевший, после долгого путешествия, свой родной край. За долгое нескончаемое пребывание в этой траншее в его памяти прочно запечатлелся каждый бугорок, каждый кусок проволоки. Он привык к этой печальной, как лунный ландшафт, картине; он почти привязался к ней, как к любимому предмету, как к соседнему саду, на который рассеянно смотришь из окна своего рабочего кабинета. Гадский меланхолично улыбнулся при мысли, что можно почувствовать симпа-

тию к истерзанным трупам и к гранатным воронкам и жить с ними почти в приятном содружестве.

Он спокойно разглядывал хорошо знакомую местность, и его глаза (в который раз!) снова остановились на маленьком черном островке, напоминавшем лужу среди высоких кольев, торчавших перед траншеей. Это был „француз“, — несчастный солдат, сраженный во время неудачной атаки шальной пулей своих же отступавших товарищей и застрявший в лабиринте своих собственных заграждений. Некоторое время этот мертвец висел, согнувшись в виде подковы и медленно покачиваясь, когда проволока дрожала от выстрелов. Только через несколько дней ружейный залп, пущенный в его сторону, избавил его от воздушного положения между небом и землей, после чего он уже спокойно лежал на траве, широко раскинув руки и ноги. Ночью он был похож на небольшую кучку земли, а днем, глядя на него издали, можно было подумать, что он был разрезан пополам и что бо̀льшая половина его туловища исчезала в рыхлой почве. Он служил для солдат точкой прицела, но стоило ему еще немного разложиться, и тогда для этой цели пришлось бы подыскать какой-нибудь другой предмет и заменить им стереотипную команду: „Влево или вправо от „француза“!“

„Храбрость—не что иное, как отсутствие воображения“, — сказал однажды бедняга Вейлер. Теперь он в безопасности, чего нельзя сказать о тех, которые находились еще здесь, вблизи этой человеческой помойной ямы!.. Гадскому трудно было представить себе, чтобы солнце могло взойти над его мертвым телом, превратившимся, как этот „француз“, в кучку гнилого мяса.

А что, если завтра утром?.. Что, если „комический певец“ действительно прав?..

С горьким чувством в душе Гадский встал и опять посмотрел на циферблат. Неужели этот час никогда не кончится? Пот струился у него по лбу; он сдвинул на затылок свою каску и подставил лицо ветру, который как раз усилился и словно раздирал туман своими яростными пальцами. Капли дождя падали Гадскому на воротник и стекали ему на голую спину, но он этого не замечал. Его взгляд снова остановился на „французе“. Убитый, казалось, играл с ним в прятки, то накрываясь до самых ушей туманом, словно одеялом, то опять выплывая из белесоватой мглы... Был ли он еще молод, когда его сразила пуля?.. Вероятно. Здесь, на фронте, были только пылкие юноши, с маленькими задорными усиками. Он вспомнил об одном из них... но нет, лучше не думать об этом. Что бы там ни говорили, но то, что он сделал, было простым убийством. Его пальцы невольно оторвались от винтовки, как бы возмущенные ощущением ее холодной стали...

Этот „француз“ лежал, слава Богу, не на его совести. Подпрапорщик второго взвода хвастался, что это он „выставил его из жизни“, как выхваченную удочкой из воды рыбу. И бедный малый валялся теперь на земле, которая, как и люди, была исковеркана и обезображена войной. В то время, как он здесь „вонял и крошился“, по грубому, но образному выражению солдат, хорошенькая, надушенная и кокетливая женщина в белом платье заботливо берегла его место в просторной французской кровати и каждое утро тревожно шла навстречу почтальону.

Гадский закрыл на мгновенье глаза и раздул ноздри. Клубы испарений, поднимавшиеся из вырытых гранатами воронок, показались ему насыщенными нежными воспоминаниями. До него донесся тонкий аромат духов, исходивший из глубины полутемного алькова, который делал ему знаки, как старому знакомому.

Как тут было не сойти с ума! Сидеть, полным жизни и сил, в окопе и дожидаться, пока тебя не убьют, как бешеную собаку! Чувствовать себя опьяненным надеждами — и добровольно отказываться от своих чудесных тридцати лет, от женщин, от музыки, от всех радостей любимого искусства!

Почему?

Гадский опять подумал вдруг о Вейлере, которого так жалели и провожали, чуть не плача, всем батальоном! Он уже лежал может, быть, в чистой постели, за окном, защищавшим его от ветра и дождя, а завтра... завтра он увидит восходящее над крышами солнце и его вечерний закат... Он живет и будет жить! О, какое наслаждение следить глазами за сладострастным покачиванием женских бедер и ощущать приятный бег крови в своих жилах. Как буйно бьется она в упругих артериях!.. А рядом с Вейлером прогуливается раненый, которого отвез сегодня утром в тыл портной из второго взвода! Оба они идут под руку по цветущему саду лазарета и посматривают сквозь сиреневую ограду на улицу, откуда доносится грохот трамваев и женщины в светлых платьях бросают сочувственные взгляды на „героев“!

Почему?..

Вдруг Гадскому стало стыдно. Чорт бы его побрал, этого проклятого „певца“ с его мрачными

предсказаниями! Это он навеял на него такое настроение... Из-за него, он, Георг Гадский, этот баловень судьбы, вел себя точно так же, как школьный учитель Фребель. Этот маленький хилый человек пошел на войну добровольцем, а теперь хныкал, как мещанин, не понимавший разницы между настоящей жизнью и простым животным существованием. На этого несчастного Фребеля было жалко смотреть! Он ежеминутно страшился несчастья, дрожал за свою шкуру и не верил в свою звезду! Какой ужас — быть во власти таких мыслей!.. Но это — Фребель, а Георгу Гадскому, которому никогда не изменяла удача, не следовало брюзжать и искушать богов своей неблагодарностью!..

Он сжал кулаки, твердо решив думать в последнюю четверть часа, остававшуюся до смены караула, о вещах более веселых и беспощадно гнать от себя черные думы. Ах, если бы не было этого мерзкого тумана! Гадский закрыл глаза и, сделав усилие, отогнал мысленно прочь тяжелые клочья водяных паров, покрывавшие изрытую снарядами землю, и устранил из своего поля зрения все, что могло приковать к себе его взгляд или смутить его мысль. Но в страшном одиночестве и глубокой тишине траншеи ему было очень трудно бороться с меланхолией. Он был готов предпочесть тихому ужасу этого места самую гулкую канонаду! Когда над головой свистят гранаты, когда, после каждого взрыва, вновь обретаешь чуть было не утраченное право дышать, когда все вокруг снова начинает улыбаться, в такие минуты, когда душа всецело захвачена непрерывной борьбой за существование, ей нет времени размышлять. Это напряженное

состояние, повторявшееся ежеминутно, наполняло тысячи и сотни тысяч людей пламенным желанием не погибнуть, а пылавшая, как огонь, жажда жизни поглощала всякий раз, когда летевший от неприятеля грозный снаряд разрывался далеко позади, все существо человека и доходило по временам до такой остроты, что даже наиболее холодные и рассудительные натуры начинали верить в чудо, вроде внезапного заключения мира.

Гадского бросало в жар, когда он думал об этом урагане лихорадочных переживаний, о великой надежде, державшей целые легионы в мучительной неизвестности.

Все эти втянутые в войну люди были объединены одним общим чувством ожидания, и взоры их не покидали большого циферблата судьбы. Те, которые находились на передовых позициях, следили на нем за секундной стрелкой, отсчитывавшей падавшие вокруг них гранаты; товарищи, стоявшие за ними во второй линии окопов, считали часы, а еще дальше, в тылу, волновалось необозримое море всех тех, для кого день опасности еще только приближался. Но везде кровоточила какая-нибудь невидимая жилка; миллионы трепетных сердец посылали свою кровь в широкую реку упований, которая, быстро возрастая в силе и глубине, катила свои разъяренные волны к ногам всемогущих господ, распоряжавшихся участью стольких человеческих существ.

Но властителей мира это не смущало! Казалось, они не видели, или не хотели видеть, как этот огромный поток подымался все выше и выше, грозя залить не только их сапоги, но добраться и до их голов...

Гадский насторожился. В проволочных заграждениях плакал ветер, а клочья тумана развевались, словно траурные вуали вдов и сирот. Из толпы полных мольбы лиц перед ним выплыл искаженный волнением облик его сестры. Она дрожала над своим единственным семнадцатилетним сыном. Не колеблясь, она пожертвовала своим любимым братом и, уговорив его ввязаться в кровавое побоище, смутно надеялась спасти таким образом своего цыпленка. И сколько других матерей переживали то же, что и она! Сколько женщин, благословлявших судьбу в начале войны, раскрывали теперь газеты с возраставшим беспокойством и проклинали рост и наливавшиеся мускулы своих детей! Их внутренний голос громко взывал о мире, их сердца цеплялись за эту единственную возможность спасения. Ведь скоро, очень скоро пробьет час, когда их сыновья покинут их, чтобы вернуться, немного позднее, с теми же гордо сверкающими молодостью глазами, но с правом, позволяющим мальчикам решать вопрос о жизни и смерти своих ближних. Все эти юноши, становившиеся с каждым днем все грубее и беспощаднее и казавшиеся как бы чужими, учились убивать и протыкать штыками других молодых людей, которые, в свою очередь, готовились стать их палачами. А в это время матери и тех и других ревниво хранили воспоминания об их долгом и счастливом детстве, цеплялись за эти благословенные годы и призывали изо всех сил мир! Как можно было не услышать их?.. Как можно было не видеть их мук?...

Гадский припомнил вечные вопросы Фребеля в казарме, его бесконечные рассуждения, его упорную веру в прекращение войны раньше, чем

она потребует его батальон... В нем наростала мрачная и безумная злоба при мысли о том, что в ту минуту, на тех же самых дощатых койках, другие, смертельно уставшие, солдаты лелеяли ту же надежду, а ужасное колесо все вертелось и вертелось без остановки... Как долго еще? До каких пор каждый новый день будет лишь промежутком времени, в течение которого миллионы людей будут стоять на краю пропасти и ждать, когда их туда сбросят? И все это происходило только потому, что безжалостные земные владыки держали мир в своих сжатых руках и ни за что не хотели их разжать...

Гадский до крови искусал себе губы, будучи не в силах подавить закипевшую в нем ненависть. Его мучило сознание, что он, как будто, уже пережил такие же страшные часы. Он покопался в своих воспоминаниях, и вдруг, при резком свете чуждого ему солнца, перед ним вспыхнула, во всех ее мельчайших подробностях, когда-то поразившая его картина. У него получилось впечатление, словно он раскрыл ящик, хранивший в себе все то, что он когда-то видел и перечувствовал. Это было в Соединенных Штатах, куда он поехал в артистическое турнэ... Когда? Года четыре тому назад?.. Нет, года три, совсем недавно, — а между тем, те сказочные дни, когда он ступал по мягким коврам и сладострастно принимал благовонные ванны, казались ему скрытыми во мраке тысячелетий, ибо грязный и отупевший, жалкий среди жалких, он снова вернулся к первобытному состоянию пещерного жителя. В то мгновенье у него не было ничего общего с известным виртуозом, с баловнем судьбы Георгом Гадским, к кото-

рому в ярко освещенных концертных залах тянулись руки восторженной толпы.

То, что он вспомнил, было пережито им на другой планете — в Чикаго. Он гостил тогда у одного американца, в его замке, окруженном, словно храм, лесом экзотических деревьев. Этот янки — маленький тучный человек с толстыми и короткими пальцами, с двойным жирным подбородком и, в то же время, с детскими мечтательными глазами, неожиданно наполнявшимися слезами, когда он говорил о сонатах Бетховена или о музыке, — этот янки, ради барышей которого ежедневно кололи тысячу триста баранов, показал ему, в один прекрасный весенний день, свое царство. С удивительной ясностью Гадский снова увидел это огромное предприятие: пестревший цветами рабочий городок, привольную, уходившую в бесконечность прерию, всю усеянную белыми движущимися точками — будущими жертвами американца, — которые весело блеяли и резвились, не подозревая о том, что тут же, рядом, их ждали горы блестящих жестяных коробок для консервов. Гадскому показалось, что он еще вдыхает приторный запах проливаемой крови, и, как тогда, его горло сжалось от отвращенья при виде „святилища“ этого завода, где забрызганные красными пятнами люди беспрестанно вонзали свои блестящие ножи в тела методически пригоняемых к ним животных. Эта резня происходила на краю высокого обрыва, откуда, при помощи передаточных ремней, еще трепетавшие трупы отправлялись с молниеносной быстротой в другое место, где их немедленно потрошили и спускали в гигантские мясорубки. Там, в громадном сарае, распространявшем вокруг тошнотворную вонь, Гадский узрел

в первый раз лицо судьбы!.. Он вспомнил затем, как, по знаку янки, вдруг раздался протяжный и глухой рев сирены, сразу прекративший грохот колес, которые сначала замедлили свой ход, а потом остановились, вместе с головокружительным вращением ремней; в то же время палачи сложили свои ножи и сняли свои обагренные кровью фартуки, а стадо жертв, уже обреченных на заклание, погнали обратно в хлев... вернули к жизни!

В эту минуту, находясь в разгаре войны, будучи убийцей и держа наготове заостренный штык, которым он собственноручно отнял недавно жизнь у одного маленького француза с симпатичной мужественной наружностью, — в эту минуту, как неоднократно и раньше, Гадский испытал ликующую радость и странную солидарность с животными, еще раз ускользнувшими от смерти. Он с содроганием подумал о последней окровавленной жертве янки, распластанной на приводном ремне, который, после свистка, застыл на дне обрыва, словно внезапно замерзший ручей. То был глупый и жадный баран!.. Тем не менее, Гадский жалел его, это несчастное бессмысленное существо, умершее только потому, что пар в сирену был пущен на одну секунду позже.

Неужели же никто не пожалеет людей? Неужели никто не подаст сигнала, чтобы прекратить эту бойню?

По мере того, как туман становился гуще и плотнее, Гадский разгорался все более сильным гневом, вспыхнувшим в его груди под влиянием этих воспоминаний.

Он вспомнил еще, с каким отвращением слушал он объяснения своего мецената относительно роли барана, водившего ежедневно на заклание своих

несознательных братьев! Он ясно видел перед собою это громадное, упитанное и упрямое животное, которое приходилось гнать палочными ударами в хлев, откуда оно сейчас же выходило обратно и, важно подпрыгивая, шло во главе целого стада новых жертв.

Гадский еще слышал громкий хохот консервного короля, покровительственно смеявшегося над его чувствительностью „артиста". Он сильнее сжал свою винтовку, инстинктивно повторив свое тогдашнее движение, — он шутил в тот момент только наполовину, — когда рука его невольно выхватила браунинг и направила его на мерзкого барана. Он хотел серьезно застрелить это животное, пользовавшееся заботами, почти уважением и даже как бы гордившееся сознанием своей миссии и тем, что оно наслаждалось жизнью за счет целого поколения своих братьев, ежедневно подводимых им под нож.

О, как он был прав, этот истребитель баранов, этот любитель музыки, издеваясь над Гадским! Какое значение имела, в конце концов, кровь этих тупых животных? Разве не с удовольствием ели котлеты из их мяса, если даже для этого, где-то там, их приходилось убивать?.. Кого могло интересовать такое событие? Каким смешным казался ему его тогдашний ужас!

Здесь, на фронте, занимались почти таким же делом, но вели его лучше, искуснее и в более широких размерах, потому что в него были втянуты целые государства, целые континенты, и еще потому, что кровь, стекавшая с колес войны, была человеческая! Здесь, также, все было прекрасно обдумано; здесь, как и там, с гордостью хвастались перед знатными посетителями совершенством

организации; здесь, также, ни одна петля не отрывалась от колоссальной стальной сети, безжалостно выхватывавшей детей из рук их родителей. На этапных пунктах, куда их сгоняли, чтобы вымыть, выбрить и привести в надлежащий вид; на широких полях, где им давали „дозреть“ для великой битвы, на передовых позициях, — вплоть до траншей, где страдали и умирали,— везде и повсюду военная машина работала без передышки, без колебаний, спокойно и уверенно. Неистощимый человеческий материал беспрестанно поступал из запасных складов, и миллионы живых существ, подавленных страхом смерти, трепетно ждали сигнала сирены. Тысячи обреченных, уже находившихся на роковом обрыве, цеплялись с измученной душой за единственную надежду, что страшная мясорубка остановится раньше, чем они в нее попадут!..

А между тем, были, ведь, люди, — из плоти и крови, с глазами и ушами, чтобы видеть и слышать, — люди, от которых зависело пустить в сирену пар, чтобы застопорить убийственную машину; но они этого не делали! Были люди, на которых трепетно взирали бесчисленные толпы их ближних, молча уходивших, полк за полком, навстречу гибели; эти люди держали в своих руках рычаг, которым они могли бы остановить движение жертвенных масс,— но они этого не делали, и машина продолжала работать!... Люди, — не переставал повторять себе Гадский, — люди могли вернуть жизнь миллионам себе подобных; они могли избавить от страха смерти несчастных, колени которых дрожали на краю пропасти; они могли вырвать из их сердец тревогу и отчаяние и вернуть их к родным очагам! Люди

могли совершить чудо, но почему-то не хотели его! Они не пускали в сирену пар, они не давали сигнала — стой! Они преследовали с холодным расчетом какую-то отдаленную цель и говорили себе: „Пока мы не добьемся ее, солдаты должны будут издыхать!“ Неужели это правда? Люди руководили дьявольской машиной, направляли ее по крови и костям, и это не мешало им есть, пить и спать! И они, действительно, спали! Они отдыхали даже тогда, когда их кровавое предприятие работало во-всю, когда сотни тысяч несчастных, тщетно надеявшихся до последней минуты, подставляли, один за другим, свои шеи под сверкавший нож войны!.. Неужели это возможно? Неужели это правда?..

Гадского охватило болезненное чувство глубокого одиночества. Ему казалось, что туман отделил его от самого себя, от всего мира, от всех, кого он знал; ему чудилось, что он утопал в безбрежном болоте без малейшей надежды на спасение! Он кусал себе руки: так сильно и неукротимо было в нем желание кричать громко, во весь голос, что он хочет жить! жить! жить!..

Неужели он превратился в ничто? Неужели он стоил не больше какого-нибудь наемника?.. А сколько людей, в былое время, пожимали ему руки, навязывались ему, грелись в лучах его славы и, закатывая глаза, клялись, что слушать его — величайшее наслаждение. Где они теперь, все уверявшие, что никогда его не забудут? В тылу, в канцеляриях или еще дальше — среди своих четырех стен — остерегаясь проронить хоть одно слово! Тот, кто благоразумно молчал, имел право оставаться дома. Горе тому, кто раскрывал рот! Его забирали в армию, отрывали от привычной уютной обстановки и от-

правляли в ряды тех, кто платил подать своею кровью. Ни один из них не согласился бы надеть себе на шею петлю ради бесполезных протестов. В конце концов, не было никакой возможности помочь тем, кто находился там, впереди!

Дрожь неизъяснимого отвращения овладела всем существом Гадского, когда он подумал о подлой сволочи, продолжавшей развязно обделывать свои делишки и довольной, что ей удалось спасти от потопа свое драгоценное маленькое „я“. Он вспомнил о „господах коммерции советниках“, которые когда-то прибегали к его таланту, чтобы увеличивать блеск своих вечеров, и с жаром пожимали ему руки, узнав, что он записался добровольцем. Они принимали при этом покровительственный вид, говоря о необходимости „держаться до конца“, а сами продолжали командовать своими служащими и находили вполне естественным, что не они, а другие их соотечественники шли уже в двадцать лет в военное рабство. Они считали нормальным, что продолжали свою прежнюю спокойную жизнь, тогда как других уносила смерть или жестоко их терзала, прежде чем с ними покончить. С какой непринужденностью мирились эти господа со столь гнусным положением вещей!.. „Было бы недурно, — подумал Гацкий, — если бы кто-нибудь встряхнул их равнодушие или попытался им описать те ужасы, которые ему самому пришлось пережить и вынести на фронте... Ха-ха!.. Как бы не так! Они не допустили бы, чтоб их беспокоили такими глупостями; они отвернулись бы, пожимая плечами, они заткнули бы себе уши, чтобы не потерять своего душевного равновесия“. Что делать! У каждого „своя доля“. „Храбрые солдаты“ должны были

безропотно погибать и мучиться ради других, не тратя при этом бесполезных слов. Короче говоря, тут делу ничем не поможешь!..

Гадский хотел бы только один раз потолковать с теми, кто включил войну в свою программу, с теми, — а их было много, — кто использовал ее в своих выгодах, — потолковать с ними и бросить им в лицо презрение, которое они заслужили!.. Несмотря на все, что он уже перенес, несмотря на предстоявшие ему страдания, он, всетаки, не хотел бы быть на их месте! Если бы ему опять пришлось выбирать, он предпочел бы, — в этом не могло быть сомнения, — снова вернуться в этот окоп, в это жилище смерти, чем оставаться в тылу и играть каждый вечер в концертах в пользу вдов и сирот, подло укрываясь за стеною лжи!

Он, Гадский, имел, по крайней мере, право смотреть войне прямо в глаза, презирать и ненавидеть ее до самой глубины своей души. Ему незачем было притворяться или высказывать без устали суждения, которые были бы ему противны, как это делают иногда люди, унижающиеся до восхваления убийцы, пощадившего их собственную драгоценную жизнь! Нет! Он — слава Богу! — служил войне и принимал в ней участие, а не уклонялся от нее. Если он пошел навстречу своей гибели, то потому, что позволил ослепить себя вначале. Но никто не сможет его упрекнуть, что он считал эту бойню почетным делом и что, одобряя ее, он купил себе свободу!..

Гадский гордо поднял голову, — и слабый крик испуга вырвался из его груди. Кто-то слегка дотронулся до его плеча.

Это была столь желанная смена, о которой он, погрузившись в размышления, совсем позабыл.

Гадский даже не посмотрел на своего заместителя и молча последовал за разводящим, все еще продолжая думать и вспоминать... Дувший ему вдогонку ветер прилепил к его спине, как холодный компресс, его насквозь промокшую рубашку. Его зубы стучали. Он злобно сорвал свою каску, с которой, как дождь из водосточной трубы, струилась ему за воротник вода, и, обращаясь отчасти к самому себе, отчасти к товарищу, обругал вполголоса плохую погоду.

Неожиданно солдат остановился, как будто слова Гадского запутались у него в ногах и охватили их, как веревкой.

— Плюньте на погоду! — хрипло воскликнул он, причем белки его глаз зловеще сверкали в темноте.— Когда рассеется туман, он унесет всех нас в царство небесное!

Гадский почувствовал, как у него замерло дыхание. Что хотел сказать разводящий? Не получены ли новые известия, пока он стоял на часах? Новые и более точные? Или эта ворона просто каркала, как и „комический певец“? Желая удостовериться в этом, он хотел задать солдату вопрос, но тот внезапно отошел от него и прислонился к стенке траншеи. Позади него появился высокий силуэт прапорщика фон-Крюлова. Гадскому показалось, что его отделил от этих двух людей как бы непроницаемый занавес и что их голоса доходили до него глухо и невнятно; он услышал несколько отрывистых приказаний офицера, потом почтительный ответ разводящего и, вслед затем, хлюпанье жидкой грязи под их сапогами. Гадский пришел в себя и свободно вздохнул только тогда, когда шум шагов затих, — и лихорадочно-горячее пожатие

прапорщика стиснуло его пальцы. Они не обменялись ни одним словом, и это молчание, словно разделявшая их пропасть, породило в нем леденящую уверенность, что в лицо ему пышет своим парализующим дыханием очень близкая опасность. Гадский раскрыл рот, намереваясь о чем-то спросить, старался угадать во тьме по взгляду Крюлова — правильно ли его предчувствие, и оставался безмолвным. Только биение его вен нарушало чуть слышно подавляющую тишину. Рука офицера, сжимавшая ему пальцы, опустилась, и он почувствовал как бы удар в самую грудь, словно у него вырвали спасительную ветку, за которую он старался уцепиться.

Молчал и прапорщик фон-Крюлов. Оба они стояли неподвижно друг перед другом, угрюмо смотрели на неясные очертания окопа, и каждый старался отгадать тайные мысли другого.

„Пропал!“ — подумал Гадский, и в ту же секунду весь, всем своим существом, резко возмутился против безнадежного отчаяния, заключавшегося в этом слове... Может быть, он ошибался? Ведь, бывало, уже не раз, что люди оставались целыми сутками в открытом океане, ухватившись за тонкую доску, или лежали погребенными под землей, иногда на глубине нескольких сот метров. И он снова попытался восстать, вступить в борьбу со своим настроением... Но нервная рука прапорщика опять коснулась его пальцев. В то же мгновенье до него донесся голос офицера, в котором было столько безысходной печали, что Гадский снова лишился сил.

— Я хотел попросить вас использовать свое влияние на Фребеля, — сказал Крюлов.

Но Гадский невольно сделал отрицательный и досадный жест. Эта просьба глубоко его задела. Как! На его личные страдания не обращали внимания и требовали, чтобы он облегчил муки другого! Почему он должен быть щедрее других? Почему именно он должен был заняться этим чужим ему человеком? Глубокое, горячее возмущение подымалось в душе Гадского. Он решил заявить раз навсегда, что вовсе не намерен отдавать свою жизнь с каким-то непринужденным изяществом или с бо̀льшим самоотвержением, чем всякий другой. Крюлову, этому славному парню, душа которого была всегда для всех открыта, он скажет всю правду без прикрас. Он покажет ему, какая пропасть лежит между их настоящим жалким существованием и легендарным миром его прежней жизни.

Но прапорщик не дал ему времени вымолвить слово. Он не мог разглядеть в темноте ни саркастическую улыбку Гадского, ни злобно-болезненное выражение его лица, а его жест протеста, его энергичное движение головою он принял за робкую попытку отрицать, из скромности, свое влияние на Фребеля.

— Да, да, вас он слушается и притом больше, чем капитана! — произнес он горячо и настойчиво. И, склонившись совсем близко к Гадскому, он заговорил быстро и взволнованно, почти умоляюще, протянув руку как бы для прощального пожатия, словно приготовился немедленно прервать свою речь, если бы кто-нибудь к ним подошел. — Капитан стал недоверчив. Я делаю все от меня зависящее, чтобы рассеять его подозрения, но всякий раз, когда мы говорим о Фребеле, он мне заявляет: „Я не должен был производить этого молодца

в унтер-офицеры; он, кажется, настоящая баба!..“ Фребель должен быть осмотрительнее! Капитан сказал нам также, что самое важное теперь — это поддержать дисциплину, и прибавил тут же, что при первой возможности он покажет пример строгости, чтобы проучить подлецов и трусов... Сообщите об этом Фребелю, как только его увидите. Он очень добрый человек, а из овечки королевского тигра никак не сделаешь даже при помощи военной службы, как говорил наш бедный Вейлер!.. Как бы то ни было, Фребелю необходимо в присутствии капитана хотя бы симулировать храбрость. Он еще успеет пасть духом, когда все уже будет потеряно. А сейчас особенно опасаться еще нечего. Может быть, туман продержится весь день; может быть, также, неприятель учует запах жаркого только тогда, когда оно уже будет съедено, то-есть, когда отступление будет закончено... Это не займет много времени — самое большое, до трех часов дня. Итого — двенадцать часов! А когда мы очистим траншею, я дам Фребелю возможность получить недельный отпуск, чтобы вознаградить за его пережитый страх, если только он будет вести себя молодцом... Передайте ему об этом... Ах, да! Расскажите ему еще о том, что у меня, с ноября месяца, брат находится на Корсике, куда он попал в плен при точно таких же обстоятельствах. Его эскадрон был целиком уничтожен, но в начале сражения пуля пробила моему брату легкое, и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, у его кровати стоял французский военный врач. Серьезно!.. Словом, утешьте Фребеля этой историей. Я буду очень огорчен, если с ним что-нибудь случится... Вы увидите в землянке, в каком он состоянии!

Его вид всех деморализирует! Если капитан застанет его в таком настроении, бедняга погиб... Скажите ему все это толком...

Крюлов говорил очень скоро, почти без передышки, и ежеминутно оглядывался вокруг себя, опасаясь, чтобы его не подслушали. Не успел он кончить свою речь, как из траншейного хода показался патруль. В ту же секунду, стараясь придать своему голосу интонацию приказа, он воскликнул:

— Вы меня поняли? Вы слышите?

И удалился, взяв отрывистым жестом под козырек.

Совершенно ошеломленный Гадский смотрел ему вслед. Из всего, что говорил Крюлов, он слышал хорошо лишь фразы: „Отступление будет закончено... Самое большое до трех часов дня... Когда мы очистим траншею...“ Эти слова запечатлелись в его памяти и беспрестанно всплывали в его сознании, как бы превратившись в испорченный граммофон, игравший без остановки один и тот же мотив.

Значит, это было неизбежно?.. Значит, это было не предположение, не гулявший по окопу слух? Весть шла из полкового штаба, от самого командира, сведения которого были достоверны и который, может быть... сам читал этот приказ...

„Завтра в три часа дня“... Иначе говоря, было необходимо, во что бы то ни стало, удержать неприятеля до вечера! Вероятно, в приказе было написано „до последнего человека“. Ведь, это обычное выражение штабных писателей...

„До последнего человека“... Им было легко это сказать, но у солдат эти слова вызывали не совсем приятную дрожь в спине! Правда, к этим

военным формулам уже привыкли. „До последнего человека“, „до последней капли крови“, „до последней лошади“... Этими фразами, звеневшими как деньги в кармане, старались возбуждать мужество и героизм. Сам Гадский, — ему приходилось в этом сознаться, — испытал вначале какое-то особенное возбуждение, смесь любопытства с задором, когда совершенно неожиданно дух войны, выскочив из рамок исторических книг и ямбических поэм, ворвался в живую действительность, внезапно заменив обыденную речь театральным пафосом... Но все это прошло... Сколько раз, в течение этой ночи, Гадский вспомнил Вейлера! Его предсказания начинали, повидимому, сбываться. Смерть становилась уже не отдаленной возможностью, какой ее считали до тех пор, и слова „перестать существовать“ уже не звучали туманно и безразлично. Выражение, не имевшее до той минуты определенного и яркого значения, неожиданно превращалось в близкую действительность. Раздавленные отчаянием люди начинали замечать, как мало они считались вначале со смертью. Проведя несколько дней в передовых окопах под жестоким огнем и видя, что они еще целы, они снова начинали надеяться на спасение, обращали свои взоры к этому просвету и были готовы противостоять новым ужасам, отдалявшим печальный финал. Но бои, которые должны были разразиться на утро, означали, что этот конец наступал! В предстоявшей борьбе одна удачно отбитая атака будет лишь небольшой передышкой, коротким спокойным интервалом, который, может быть, нарушат восклицания вроде: „Ах, бедняга Гадский?.. Что вы говорите?.. Как это ужасно!“

Его руки словно налились свинцом, а ноги как бы вросли в землю; его охватила невыразимая усталость, как будто он только что совершил длинный переход. Он выронил винтовку и опустился на пустой зарядный ящик. За спиной у него бушевал ветер и, постепенно приобретая ярость урагана, бурно врывался в траншею, облепляя его горячее тело мокрой рубашкой. Гадский улыбнулся при мысли, что он научился не бояться простуды или даже воспаления легких. Не все ли ему равно, как он будет себя чувствовать завтра, и какое ему дело до микробов, угрожающих заразить его организм, раз и они были обречены на быструю гибель!

„Итак, все имеет свою хорошую сторону!“ — иронизировал он, яростно стараясь подавить чувство глубокой симпатии и волнение, вызванные в нем почти сверхчеловеческим альтруизмом Крюлова. Этот мальчик, которому только что исполнилось двадцать лет и который вырос в среде, не признававшей высоких душевных порывов и беззаветной любви к своему ближнему, — этот мальчик, даже в тот момент, когда смерть собиралась оборвать его едва развернувшуюся жизнь, волновался о судьбе Фребеля, прожившего на целых пятнадцать лет больше него! Почему это существо, насыщенное лучезарной добротой, должно было погибнуть до того, как оно озарило ею тысячи несчастных, между тем, как счастливые случайности отстраняли опасности от тех, кто думал только о себе? Не наводило ли это обстоятельство на мысль, что человечеством управляет какая-то таинственная и злая воля, выхватывающая из него, как из пирога изюм, наиболее благородные сердца, охраняя, в то же время, с какой-то ревнивой

заботливостью, людей холодных и эгоистичных, ограниченных и злых? У этого маленького фон-Крюлова, влюбленного в жизнь, как молодая наивная крестьянка в своего жениха, было два брата. Они жили, как мелкие, напыщенные своей дворянской спесью, самодержцы, никогда не обращавшие внимания, на что наступали их ноги, — словно пущенныя в цветник животные; — а этот прапорщик распространял вокруг себя любовь и сострадание. Старший Крюлов, наследник майората, пристроился в Берлине в канцелярии главного штаба, запасшись искусно сфабрикованным протезом, а второй был в полной безопасности на Корсике! Разве не эти два черствых человека, равнодушные к стонам и несчастьям, разве не они должны были уплатить войне подать своей кровью, вместо их младшего брата, в руках которого каждый золотой их крупного состояния был бы зерном для посева добра и счастья на земле?

Стиснув руками голову и наклонившись вперед, Гадский рассматривал следы ног прапорщика, постепенно наполнявшиеся водой, и продолжал думать о Крюлове. Восхищаясь почти отеческой добротой молодого человека, он чувствовал, как в душе его начинает шевелиться стыд перед самим собой! Разве двести товарищей, которые сидели уже несколько месяцев вместе с ним в окопе и становились ему с каждой минутой все ближе и ближе, — разве не шли и они навстречу такой же смерти? А между тем, он никогда о них не думал и должен был сознаться, что его возмущение холодным равнодушием людей, осторожно державшихся в стороне от опасности, проистекало не из чувства жалости...

Напитавшаяся водою рубашка все время беспокоила Гадского, облепляла ему спину, стесняла его движения. Дрожа всем телом, он упорно кусал себе губы, решив не двигаться с места. Он хотел испытать до конца унизительное и болезненное ощущение тупого сидения в траншее, — наподобие послушной, грязной и измазанной собаки, — с какой-то прилипавшей к коже рыбьей чешуей. Со смущением, почти с ненавистью вспомнил он то время, когда, в сухих лакированных ботинках, он катался в карете, не думая ни на секунду о тех несчастных, которые неподвижно торчали на козлах барских экипажей, низко опустив голову под проливным дождем, продрогшие, промокшие, в прилипавших к телу кучерских ливреях. Он, познавший за счет других и наслаждение и счастье, имел ли он право возмущаться жестокостью судьбы, державшей его теперь пленником на фронте?

В далеком тумане, словно сквозь газовый занавес, перед Гадским встала одна картина. Он не хотел ее видеть, он отгонял ее прочь, но она настойчиво, почти вызывающе овладевала его памятью, подчиняя ее себе, как покоряют хлыстом и шпорами своенравного коня. У него сперло дыхание, и леденящий холодок сжал его сердце, когда он вдруг вспомнил, что прошел ровно год, — день в день, почти час в час, — только один год с той ночи.... со времени его последнего концерта в Париже! Кто бы мог тогда подумать, что это был последний?.. Как и сегодня, дул яростный весенний ветер, вступая в борьбу с тряскими фиакрами. Рядом с ним, в карете, сидела Матильда, смотревшая на него восторженными глазами. Он в тот вечер превзошел самого себя: под несмол-

кавшие аплодисменты он то и дело возвращался к своему роялю и раскланивался... По пожатию пальцев и по сияющему лицу той, кто была его возлюбленной, он мог понять всю значительность своего успеха! Он играл только для нее!.. С той стороны зала, где она сидела, от нее шел к нему какой-то особый, полный силы и нежности ток.

А затем?.. Еще раз он пережил всю сцену словно видел ее в театре. Они ехали к Матильде. При мерцающем свете экипажного фонаря он различал седого старика-кучера, чихавшего от простуды, растрепанного ветром, дрожавшего от непогоды, — кучера, который, словно одержимый, катил по пустынной дороге. Он, Гадский, конечно, не поцеремонился с этим старьем и, без долгих разговоров, приказал ему нестись во весь дух в Нейи, в восхитительный маленький домик, где и кресла, и портьеры, и все безделушки сладостно дышали Матильдой. Там их ждал чай; там он заключит ее в свои объятия, и ее поцелуй будет его триумфом. Надо ли удивляться, что он сурово и высокомерно оборвал жалобные просьбы старого болтуна, указывавшего на бурю и дальний путь; надо ли удивляться, что он яростно послал ко всем чертям и лошадь, и карету, и кучера, что он потерял, наконец, терпенье, когда дождь, через открытую стариком дверцу, проник в экипаж, и прекрасное зеленое креп-де-шиновое платье Матильды облепило, как мокрая тряпка, ее тонкие ножки! „Но, ради Бога, сударь! В такую погоду!“ — умолял седовласый возница. — „Вперед!“ — повелительно крикнул Гадский.

„Вперед!“ — приказывали также командиры, руководившие отступлением армии и лихорадочно

соображавшие шансы на успех, от которого они ждали орденов, славы, сверкающих взоров и страстных объятий своих возлюбленных. „Вперед!“—повторяла, как эхо, вслед за ними алчная свора хищников, стремительно гнавшихся за обильно политыми кровью бесчисленных ран деньгами, чтобы превратить их в зеленые креп-де-шиновые платья и в кокетливые, полные тонкого аромата гнездышки любви. Всякий раз, когда Гадский выходил на эстраду и брал первые аккорды, какое-то властное чувство напрягало все его существо, как тетиву лука; какая-то особая воля, — более сильная, чем он сам, — захватывала, словно тисками, его душу и тело и не отпускала их до тех пор, пока стоголовая, уже побежденная, артистом гидра не разражалась рукоплесканиями. Такое же опьянение наполняло своим тлетворным дыханием и пустые, украшенные лишь географическими картами, комнаты штабов и подавляло всякое сострадание в сердцах сидевших там людей, которые также стремились добраться до своего Нейи и опьяниться успехом и славой, которые также желали „победы“ во что бы то ни стало, а там — пусть чорт подерет и лошадь, и извозчика, и Георга Гадского, и сотни тысяч других!..

На мгновенье он углубился в самого себя. Вокруг него зияла страшная, тяжело давившая пустота. Измученный осаждавшими его мыслями, он испытывал такое ощущение, словно отчаянно бился в сетях, куда его так глупо заманили. И так оно было в действительности! Спасения не было! Та огромная беспримерная несправедливость, от которой, только что на передовой позиции, он чуть не задохся, горя возмущением и нена-

вистью, сводилась к простой перемене места для тех, кто мог лишь о ней думать, не будучи лично в ней заинтересован. Когда-то Георг Гадский тоже принадлежал к счастливцам мира сего и наслаждался жизнью, а теперь он очутился среди тех, кто должен был страдать. В мирное время и он был „штабным“, а теперь, несчастный и промокший, он сидел на козлах той кареты, в которой другие с приятностью катились от одной удачи к другой!

Гадский видел, конечно, там вдали, возможный выход, — мышиную норку, куда можно было бы спрятаться; но он с гордостью отгонял от себя это искушение. Нет! Скромный путник, ушедший с маленькой станции [1]), чтобы объездить весь мир в роскошных купэ скорых поездов; он, добившийся успеха, славы и любви, — он не имел права позорно бежать под предлогом, что достиг цели, не шествуя по трупам... не уничтожая на своем пути человеческие жизни. И в самом деле: что сталось с теми неудачниками, которые, испытав сами множество горьких разочарований, способствовали, тем не менее, его, Гадского, успехам? Эти несчастные влачили жалкое существование учителей музыки и должны были присутствовать на его концертах, при всегда переполненном зале, в то время, как этот же зал безжалостно пустовал, если они рисковали своими скопленными от нищенского заработка сбережениями, чтобы, в свою очередь, попытать счастья — в первый и последний раз. Говорил ли когда-нибудь хоть один генерал

---

[1]) Гадский — сын начальника маленькой железнодорожной станции. (См. предисловие.)

о своих солдатах, заплативших гибелью и ранами за украшавшие грудь их командира ордена, с большим презрением, чем отзывался он, Гадский, обо всех этих „таперах“ и „бездарностях“, обо всей этой „толпе дилетантов“?.. Нет! Была ли, действительно, эта борьба при помощи штыков и бомб более жестокой, чем та, другая, требовавшая от людей только их души, но никогда не прекращавшаяся и мало заботившаяся о том, выживут ли побежденные? Если бы Гадскому вдруг предложили на выбор — нищенствовать до конца своих дней, остаться непризнанным талантом, обозленным и желчным человеком, или погибнуть в этой кровавой войне и, освободившись от всяких тревог, успокоиться там, наверху, на разрытых снарядами полях, — он не колебался бы ни на одну минуту...

Резким движением он схватил свое ружье и встал. Непреклонное решение вернуло ему силы, и большими твердыми шагами он направился к землянке. Он был слишком утомлен, чтобы тут же, в траншее, пред лицом смерти, распутать сложный клубок чудовищного события, чтобы разбираться дальше в тяжелом сплетении захвативших его обстоятельств. Однако, он сознавал, что в общей вине была и его доля. Ведь, тот ураган, который оторвал его от привычной деятельности и, как соломинку, швырнул его сюда, разразился не сразу: нет, он наростал постепенно, под давлением жгучего, им самим испытанного желания наслаждаться жизнью. Ярость, бросившая народы друг на друга и потопившая их в крови и горе, была лишь отзвуком миллионов голосов, жаждавших богатства, могущества и легкого существования за счет других. Этот слепой эгоизм владел и его гордой душой; он

побуждал его топтать, без угрызений совести, поверженные тела своих ближних, заставлял его гнаться за славой!..

Гадский быстро шел в блиндаж, чтобы успеть немного соснуть до рассвета. Он хотел вступить в бой отдохнувшим и сильным! Осознав, что он не являлся невинной жертвой обрушившейся на него катастрофы, а напротив — бойцом, ответственным, как и другие, за возникновение распри, он решил, что должен мужественно защищаться — до последнего издыхания! Плохо придется тому, кто покусится его уничтожить! Он уже показал, на этой войне, что может быть храбрым, и у него нет оснований трусить теперь, когда предстояло сражаться другим оружием, в рукопашной схватке, лицом к лицу. Он постоит за себя! Да, Бог свидетель, что он постоит за себя!.. Но зато, какое блаженство, какое невыразимое счастье ожидает его, если ему удастся вернуть все потерянное и снова вступить в жизнь, которую он сумеет оценить в тысячу раз лучше после столь тяжких страданий. Тогда... только тогда... он сможет загладить совершонные его жадностью преступления. Только тогда он изменится, станет добрым и великодушным, перестанет попирать слабых, разделит с другими свои удачи и будет считать величайшей радостью возможность расточать счастье, как это делал маленький Крюлов. Но для этого необходимо, прежде всего, выжить! А чтобы сохранить жизнь, надо защищаться. Только тогда можно будет поставить над Георгом Гадским крест, когда его тело, как и лежавший перед окопом труп „француза", смешается с землей и превратится в кучку навоза.

Да он еще поборется!..

Когда Гадский вошел в землянку, его поразило представившееся его глазам безотрадное зрелище. И сразу его душа потеряла уверенность, которой он добился с таким трудом, и еще раз все мужество покинуло его. Какая перемена! Он оставил людей, аккомпанировавших своим смехом звону стаканов, а нашел раскисшие, охваченные безумным страхом существа с расстроенными физиономиями и блуждавшими глазами. Все сидели мрачно и молча по углам, словно смерть уже хватала их своими когтями за ворот. Это были застывшие, неподвижные фигуры, покрытые нависшим над их головами леденящим туманом и обливавшиеся холодным потом сознания, что гибель неизбежна.

Гадский в ужасе замер у входа, но в то же мгновенье кто-то с силой схватил его за руку и потащил за собой.

— Прошу вас... умоляю... выйдемте! — проскрипел у него над ухом голос Фребеля.

Гадский хотел оставить в землянке свое ружье, но дрожащие пальцы унтер-офицера все сильнее сжимали ему кисть руки и, в то же время, мольба его становилась все настойчивее.

— Пойдемте!.. Прошу вас, пойдемте!..

Возмущенный, с искаженным злобою лицом, Гадский дал себя увлечь в траншею, следуя издали за Фребелем, который бежал во весь дух перед ним, пока не достиг, за третьим коленом окопа, небольшого углубления, заваленного мешками с песком и служившего вспомогательным перевязочным пунктом.

— Куда к чорту вы меня ведете? — воскликнул раздраженный и обозленный Гадский и пожал пле-

чами, когда трясшийся как в лихорадке унтер-офицер приложил к своим губам палец.

Наконец, они остановились, — и прежде чем Гадский успел ему помешать, Фребель бросился на колени и, простирая к нему руки, закричал:

— Спасите меня!.. Умоляю, спасите меня! Подумайте о моей жене, о моем малютке! Ради Бога, спасите меня!

Гадский почувствовал во рту какой-то терпкий вкус и физическую тошноту, подкатывавшуюся изнутри к его горлу. Он чуть было не накинулся с кулаками на унтер-офицера.

— Да встаньте же! — топнул он. — Как можете вы падать на колени?

А когда маленький человеческий комок, черневший перед ним на земле, еще крепче прильнул к его ногам и ухватился судорожными пальцами за его шинель, он окончательно вышел из себя и с гневом повторил:

— Да встаньте же, говорю вам! Как вы можете?..

Но Фребель не двигался.

— Помогите мне, — стонал он. — Я все испробовал, все!.. Я больше не могу!..

Он выпустил полу Гадского, закрыл лицо руками, тихо заплакал и вдруг, снова охваченный безумным страхом, опять уцепился за одежду Гадского и громко крикнул:

— Помогите мне!.. Умоляю вас, помогите мне!..

Гадский с отвращением оттолкнул его и сказал резким повелительным тоном:

— Встаньте, чорт возьми! Разве я сам не..?

Фребель моментально поднялся и приблизился к Гадскому, почти коснувшись своими губами его уха.

— Да, да, вы можете мне помочь! Вы можете меня спасти, если захотите, — прошептал он, задыхаясь. — Сейчас еще нет двух часов утра; если я теперь же смогу вернуться в тыл, еще не поздно... Помогите мне...

Гадский смотрел на него, не понимая, и с нетерпением отступил на шаг, потому что унтер-офицер вцепился в его ружье и почти вырывал его у него из рук.

— Чего вы хотите? Осторожней! Оно заряжено! — сердито сказал он.

У Фребеля зубы стучали, как в лихорадке.

— Вы сами... говорили мне вчера, — лепетал он, — что... что оно не в порядке... Стоит вам только нажать курок... Я... я... я все устрою... как будто случайно, во время осмотра... вы меня ранили...

Гадский с силою оттолкнул его.

— Да вы с ума сошли? Вы хотите подвести нас обоих под расстрел?

Унтер-офицер бросился к нему:

— Нет! Нет! На вас не будет никакого подозрения... Я все предусмотрел... Помогите мне!

Гадский потерял терпение. Ударом кулака он освободился от впившегося в него человека и спрятал свою винтовку за спиной. Но когда он увидел глубоко подавленного Фребеля, который, прижавшись к стенке окопа, рыдал, как ребенок, его охватила, несмотря на отвращение, сильная жалость к несчастному, и он попытался, в самых радужных красках, передать ему рассказ Крюлова. Он описал, как освободился от войны старший брат поручика, находившийся теперь вне всякой опасности, говорил о радостях возвраще-

ния из плена и испытал нечто вроде стыда, когда закончил свое трогательное повествование.

Но Фребель его не слушал. Слова Гадского, сказанные им вначале о подозрениях капитана, разрушали все его планы. Он совершенно раскис и опустился на землю, уткнув голову в колени; его острые плечи непрерывно вздрагивали от рыданий. Наконец, он встал, хрустнул со вздохом пальцами и произнес угасшим, как бы звучавшим издалека голосом:

— Я больше не могу!.. Поверьте мне, я все испробовал... Ваше поведение мне непонятно... Я знаю, что подвергаюсь не большей опасности, чем все остальные, но я не понимаю вас, — да, не понимаю... Мне кажется, что все вы здесь играете какую-то комедию!.. Одни для других!.. Я беспрестанно спрашиваю себя: „Уж не верят ли они, что в последний момент, перед лицом действительной смерти, представление вдруг окончится? Или они рассчитывают на уважение и почести после того, как погибнут?“ Для меня непостижимо, как можно добровольно жертвовать жизнью, чтобы заслужить чье-то одобрение и похвалы, от которых вам будет столько же пользы, как и этому камню под моими ногами...

Он схватился обеими руками за голову и закричал так громко, что Гадский в испуге посмотрел, не следит ли кто-нибудь за ними:

— Тысячу раз я говорил себе, что должен быть энергичнее, что все надо мной смеются, что с меня сорвут нашивки, если я буду так себя вести. Напрасно! Тысячу раз я принимал решение быть храбрее при приближении опасности, проявлять

такое же мужество, как и мои товарищи, которые не подвергаются большей опасности из-за того, что они менее удручены и обладают бо́льшей выдержкой. Увы! В то же мгновенье у меня, каждый раз, возникал вопрос: „Да разве жизнь стоит меньше, чем лестный отзыв обо мне господина капитана? Не лучше ли сносить брань и насмешки, чем гнить под землею со своими нашивками? Кто из нас знает, что́ будут о нем думать после его смерти?..“ Нет, при всем желании я не могу справиться с этой дилеммой.

Это искреннее и бурное признание вырвалось у Фребеля из бездонных глубин его души. Тем не менее, оно вызвало у Гадского непреодолимое чувство омерзения. Жалобы унтер-офицера были ему тем более тягостны, что являлись как бы грубой карикатурой на его собственную жестокую борьбу с самим собой и на все те мысли, которые он хотел в себе подавить... Фребель снова протянул к нему свои конвульсивно дрожавшие пальцы, словно все еще надеялся уцепиться, наконец, за якорь спасения. Гадскому стало противно, и он отвернулся от этого эгоиста, совершенно забывавшего, что его ближние шли по краю той же бездны и могли избегнуть падения в нее лишь ценой сверхчеловеческих усилий.

Фребель почувствовал вызванное им отвращение, печально поник головою и на минуту погрузился в молчание, поглощенный своими безрадостными думами. Он еще раз обратился к Гадскому и заговорил тихим, шепчущим голосом, словно открывая какую-то тайну:

— Там, за этим разрушенным снарядами наблюдательным пунктом, лежит Дауглер! Его еще не

похоронили. Сегодня утром я дважды ходил посмотреть на него. Десять часов тому назад он был еще жив! Разве он не мог бы жить и теперь?.. Но он вызвался исполнить опасное поручение, желая заработать крест до того, как поедет в отпуск. Он так гордился предстоявшим ему подвигом, что глаза его горели, когда капитан поставил его в пример другим... А теперь... взгляните на его потухший взор!.. Вот, он лежит, распластавшись, возле груды досок и сам похожий на доску. Его можно теперь пилить, рубить, жечь, и он этого не почувствует! К чему ему теперь его репутация примерного солдата?.. О, если бы вы знали, как я мучился, глядя на убитого! Это бесполезно, я знаю, но я не могу... не могу!.. Когда я стоял возле трупа Дауглера, солнце на минуту прорвало тучи и осветило его глаза, его чудные, ясные глаза, и с той минуты они не дают мне покоя... Словно обезумев, я молил мертвеца, сказать мне — готов ли он начать все сызнова? Я спрашивал его — неужели он не предпочел бы вновь увидеть солнце и вернуться к своей жене и детям, хотя бы без ордена и похвал, всеми презираемый и опозоренный, но крепко держась на своих двух ногах, которые теперь, когда их поднимаешь, безжизненно падают на землю. Поверьте, я отдал бы все на свете, чтобы только задать этот ему вопрос! Мне хотелось разбить ему голову ударом топора, чтобы узнать, сознает ли он свою почетную и геройскую смерть!..

Захлебываясь от волнения, Фребель тяжело вздохнул и, вздрагивая от рыданий, которые он не мог больше сдерживать, протянул, с умоляющим жестом, свои руки к Гадскому.

— Я знаю, вы презираете меня за то, что я подл, за то, что я прошу вас спасти меня, не заботясь о том, что станется с вами и с другими товарищами... Я знаю это, но не могу иначе!.. Не могу!.. В вас есть, должно быть, то, чего не хватает мне! У вас у всех есть, должно быть, вера, которой нет у меня... Иначе вы не могли бы так рисковать своей жизнью. Вы не могли бы итти на смерть, как на обычное дело, только для того, чтобы заслужить одобрение за хорошо исполненное приказание... А я, я не могу!.. Я не могу!.. Я не могу!..

Слезы заглушили голос унтер-офицера. Гадский, бросив на него мрачный взгляд, с презрением пожал плечами. Этому человеку ничем нельзя было помочь, а сам он, Гадский, не имел никакого желания бесполезно терять плоды победы, с таким трудом одержанной им над самим собой! Более того, этот жалкий субъект кричал так громко, что все проходившие по траншее могли его услышать и сообщить об их разговоре командиру.

Как раз там, в углу, Гадский только что заметил чей-то силуэт, показавшийся ему подозрительным!.. Он взял свое ружье и сделал движение, чтобы уйти.

Но в то же мгновенье Фребель снова упал на колени, обхватил ноги Гадского и закричал:

— Нет, нет! Не покидайте меня! Мой дорогой, мой добрый господин Гадский, я не могу быть один!.. Никто об этом не узнает... Ради Бога помогите мне!..

Гадский грубо оттолкнул его и прошептал:

— Осторожнее! За нами следят!

Фребель замолчал, обернулся — и обмер. Тень, за которой Гадский следил уже несколько минут, отделилась от мешков с песком. Показалась высокая и стройная фигура прапорщика Крюлова. Гадский вздохнул с облегчением. Он быстро нагнулся к Фребелю, чтобы помочь ему встать.

— Как можете вы обращаться к товарищу с такой просьбой? — воскликнул глухим голосом прапорщик. — Если я на вас донесу, с вас сорвут ваши погоны, вас немедленно расстреляют, и с завтрашнего дня ваша семья останется без всяких средств!.. Ради вашей несчастной жены я не скажу никому ни слова. Но будьте уверены, что ваша подлость позорит и ее и ваших детей!

Он замолчал и отер пот, проступивший у него на лбу, вследствие необходимости говорить о таких вещах. После минутного раздумья, он протянул руку и сурово скомандовал:

— Марш!

Фребель, пошатываясь, удалился, и в продолжение нескольких секунд, пока он не исчез, слышно было, как он икал от страха, словно умирающий. Гадский и Крюлов остались одни и не произносили ни слова, словно только что разыгравшаяся тягостная сцена все еще стояла между ними, как стена. Гадский знал, как трудно было прапорщику строго обращаться с теми, кто был старше его, и отчитывать, как школьников, людей, которые годились ему в отцы. Он видел, что Крюлов был смущен, словно рыдания Фребеля еще звучали у него в ушах, и охотно помог бы ему нарушить молчание. Но он должен был ждать, пока прапорщик скинет маску начальника. Наконец, Крюлов преодолел свое замешательство.

— Вы прошли мимо меня, не заметив, что я был тут, — нерешительно начал он. — Я не хотел подслушивать, но вид Фребеля, который шел впереди вас, показался мне подозрительным, и я побоялся, что вас может услышать кто-нибудь другой.

Он вздохнул с облегчением, почувствовав, что рассеял подозрения Гадского, и прибавил со свойственной ему любезностью:

— Не хотите ли зайти на минутку ко мне? Я один. Другие офицеры — на собрании в соседнем взводе.

Взглянув на часы, он добавил:

— Они вернутся еще не скоро.

Они молча пошли по пустынному окопу, пробираясь к офицерской квартире. Гадский поставил свое ружье у стены, и они вошли в помещение. Последнее было приспособлено для жилья, но было обставлено не лучше, чем солдатские землянки. И все же, каждый раз, когда Гадский туда являлся, он испытывал какое-то гнетущее, похожее на ненависть чувство. Он вспоминал крестьян, которые, входя в контору его отца, мяли в руках свои изодранные шапки. Он понимал, что источником его злобного настроения были не предметы, находившиеся в офицерской квартире, — как, например, маленький зеленый абажур на керосиновой лампе, — ни тем более какие-либо воспоминания. Нет. Но он не мог простить этой комнате, что иногда, как лакею, ему приходилось стоять в ожидании на ее пороге!

Прапорщик жестом пригласил Гадского сесть за стол, укрепленный на четырех колышках, и предложил ему папиросу. Они молча смотрели на огонь, словно придавленные тяжестью событий.

Гадский нисколько не сомневался, что Крюлов увел его с собой не из пустого каприза. При свете лампы он заметил, что на добром и худощавом лице прапорщика лежала тень беспокойства; он видел, как опустились углы его рта, и почувствовал, что какие-то мысли тревожно теснились за его гладким и высоким лбом. Там назревало какое-то решение, с трудом пробивавшее себе дорогу к устам молодого офицера.

Крюлову было неприятно от испытующего взгляда Гадского; он открыл глаза и грустно сказал:

— Мне жаль несчастного Фребеля! Ему было так трудно расстаться с женой. Я вспоминаю до сих пор его „до-свидания", которое он ей бросил уже долго после того, как поезд отошел.

Гадский равнодушно пожал плечами. Он чувствовал, что „дело не в этом". Прапорщик, очевидно, хотел выиграть время и пытался дать другой оборот разговору, чтобы обмануть самого себя. Но его большие блуждавшие по сторонам глаза выдавали его с головой. Наконец, он медленно протянул над столом руку и пробормотал:

— Я... Я хотел вас поблагодарить...

Сильно изумленный Гадский почувствовал на себе ясный, теплый и взволнованный взгляд Крюлова и, со спазмой в горле, принял протянутую руку.

— Вы не сможете вполне понять... а я... я не смогу вам хорошо объяснить, как много для меня значат наши дружеские отношения.

Он опустил глаза, снова обнаружил некоторое колебание и вдруг быстро заговорил, с постепенно возроставшей уверенностью, как лодка, которую внезапно отвязали и пустили по течению.

— Я часто вам рассказывал, сколько я выстрадал в кадетском корпусе... Предположите, что во время вашего детства, что в дни всей вашей юности, никто, — ни один товарищ, ни один учитель, ни один родственник, — не разделял бы и не понимал вашей склонности к музыке! Представьте себе, что все без исключения находили бы прекрасным то, что вас отталкивало; что люди насмехались бы, как над изнеживающим и скучным занятием, над всем, что вас приводило бы в восторг!.. Разве вам не пришло бы в голову, что вы ошибаетесь?.. Я был в таком положении. У меня еще не было никакого опыта, и, не предполагая, что все заблуждаются, я думал, что неправ я сам!

Он перевел дыхание; щеки его пылали; чувствовалось, что он отыскивал каждое слово как бы в потайном шкапу, который ему приходилось открывать ценою громадного усилия.

— Мое несчастье — я вам уже говорил об этом — заключалось в моем пристрастии к знанию и в моей неутомимой потребности в духовной пище. Все содержание учебных книг, — а других у меня не было, — все, что хоть случайно высказывали мои учителя, все это я безостановочно поглощал. Но при этом я постоянно наталкивался на противоречия, которых не умел себе объяснить. Священник легко настроил меня против иезуитов с их отвратительным девизом — цель оправдывает средства. Но когда я осмелился спросить, не из того ли же самого принципа вытекает пользование на войне предательством и хитростью и убийство завлеченного в засаду врага, мне было сделано суровое внушение, под предлогом, что я проявляю вредное направление. Я гордился желез-

ным противодействием моих предков всякому покушению на их свободу и на немецкую национальность. Тем не менее, мой отец меня побил, когда однажды, во время каникул, которые я проводил в нашем имении, расположенном по близости от польской территории, я пытался взять под свою защиту поляков, одушевляемых таким же стремлением. Я не мог допустить мысль, что победа на поле брани оправдывает все, что сила — высшая мораль и лучшее право народа, ибо никогда ни один из военных успехов неприятеля, отмеченных в нашей истории, не рассматривали с этой точки зрения. Божественное право узаконяло грубое угнетение, насилие и грабеж! Я обращался с вопросами к моим братьям и к товарищам, но ни у кого из них я не встречал тех сомнений, что владели моей душой. Я не был ничтожеством, но окружавшие меня люди были сильнее и, в особенности, грубее меня. Несмотря на свою скромность, я не мог считать себя ниже этих буйных забияк, находивших удовольствие только в драках и в жестоких шутках. В молодые годы, когда я был еще слаб, мне не приходило в голову жаловаться на зло, которое причиняли мне старшие. Это, все равно, ни к чему не вело. Но я не мог признать справедливым столь тяжко ложившееся на меня ярмо, признать его только потому, что оно налагалось на меня обществом... И мне было стыдно, что только я один не любил свою родину той исключительной любовью, которую предписывал мне мой долг.

Он встал, подошел к Гадскому и протянул ему обе руки.

— И вот, можете ли вы себе представить мою великую радость, когда вы внезапно открыли мне мир, где мне не надо было стыдиться?.. Ваше появление было для меня моментом, как в известной сказке, когда заколдованный злою ведьмой принц теряет вдруг свой горб и может, наконец, держаться прямо! Вы открыто и просто говорили о том, в чем я смел себе признаваться лишь робко и после долгих колебаний. Впервые в моей жизни я мог полно и свободно отдаться одному чувству!..

— Ну, ну! — резко прервал его Гадский. — Вы исповедуетесь и говорите так, как будто уже известно, что дьявол унесет нас в ад уже завтра утром. Слава Богу, дела наши еще не так плохи. Мы еще поборемся!

Крюлов промолчал. Он устало улыбнулся и отрицательно покачал головой.

— Что вы хотите сказать?—вспылил Гадский.— Вы не желаете защищаться?

Прапорщик бросил на него смущенный взгляд и уклончиво произнес:

— Оставим это! Весь этот разговор ни к чему! Впрочем, вам пора уходить.

Но Гадский этим ответом не удовлетворился. Он испытующе посмотрел на бледное и покорное лицо Крюлова и напомнил ему о счастливом освобождении его брата.

— Да, все возможно, — пробормотал тот, все еще не глядя прямо в глаза. Он пытался незаметно оттеснить Гадского к выходу и меланхолически прибавил: — В конце концов, что за важность! Все мы когда-нибудь умрем. Несколькими годами раньше или позже...

— Нет, вы так не отделаетесь от меня! — твердо заявил Гадский. — Я не хочу вас оставлять в таком душевном состоянии. Вы неправы. Глубоко неправы! У природы есть свои права! Смерть, как хороший скульптор, терпеливо формует свои жертвы! Ей необходимо поработать несколько недель, а иногда и месяцев, чтобы заострить подбородок и скулы и вдавить глаза в орбиты; и только тогда, когда лицо окончательно примет вид черепа, когда все хорошо подготовлено, когда все жилы напряжены и тонки, как паутина, только тогда наступает минута великой разлуки. Мы совсем не в таком положении, когда у юноши грубо вырывают зуб против воли его двадцатилетнего тела, или когда у старика он выпадает вследствие ослабления челюсти... Мы должны защищаться!.. Я говорил, как и вы, пока смерть рисовалась мне далеким призраком, вися где-то там, в тумане, словно пугало, в которое никто не верит. Но в эту ночь я многое обдумал. И я пришел к заключению, что в данный момент наш единственный долг — защищаться. Все остальное придет само собой.

— Я тоже многое обдумал, — ответил ему очень спокойно прапорщик, и в его голосе сквозило упорство, почти гордость. Его лицо вдруг посерело и как бы состарилось. Вокруг тонкой линии его рта легла горькая и решительная складка.

— Послушайте, господин фон-Крюлов! — гневно воскликнул Гадский, выпрямляясь перед ним. — Даю вам честное слово, что не уйду отсюда, пока...

Прапорщик не дал ему договорить. С улыбкой положил он ему руку на плечо и мягко возразил:

— Чего вы хотите от меня? Я охотно соглашаюсь, что вы правы. Вы меня не поняли. Конечно, большая разница — умереть в двадцать лет или в семьдесят. Я просто хотел сказать, что все люди рано или поздно — а это несущественно — должны исчезнуть, потому что нельзя сделать первого вздоха, не обязавшись сделать и последний, потому что все мы, без исключения, приговорены к смерти со дня нашего рождения...

Он на секунду замолчал и прибавил с горячностью, видимо, волнуясь:

— Но не все мы вынуждены убивать! Миллионы из нас умирают, не замарав рук в крови своих ближних! И я думаю, что каждый должен сам решить, имеет ли он...

— Имеет ли он право жертвовать своею жизнью, чтобы спасти других, менее ценных, чем он, людей, гибель которых явилась бы куда меньшей потерей для мира и человечества? — вне себя воскликнул Гадский, отступая до середины комнаты. — Вовсе не безразлично, кто уцелеет после этого мерзкого, кровавого побоища!.. Что касается меня, то я уже выполнил все, на что был способен, и, в лучшем случае, все, что я смогу еще сделать, это только повторяться. Тем не менее, я буду защищаться до последнего издыхания! Обещайте мне поступить так же!.. До чего мы дойдем, если лучшие люди дадут великодушно убивать себя под предлогом, что они санкционировали эту низкую бойню? Что, если после войны останутся для будущего только глупцы и скоты?.. Мы здесь одни, и я могу откровенно вас спросить: предполагаете ли вы, например, что наш капитан не станет защищаться?..

— Он также имеет право на самозащиту! — прервал его Крюлов.—Он считает, что истребление врагов—его святой долг. Он твердо в этом убежден...

— Полноте! — злобно воскликнул Гадский. — Когда наступит момент, он будет, прежде всего, бороться за свою жизнь. Смерть — дело личное...

Крюлов сделал неодобрительный жест. Старческое выражение исчезло с его лица, и свойственная его натуре робость уступила место той граничащей с ясновидением и поразительно спокойной уверенностью, овладевающей иногда сильными и молчаливыми людьми, когда их уста начинают вдруг щедро расточать сокровища, тысячу раз застревавшие у них в горле.

— Нет! — воскликнул он. — Вы не можете это понять! Для вас смерть была всегда лишь отдаленной угрозой, о которой не думают, кредитором, повестки которого получают очень неохотно! Мы же, с самого детства, на каждом шагу, на каждом перекрестке, на каждой лестнице — сталкивались с аксиомой: умереть за государя и отечество! Никогда, Гадский, вы не углубляли с такой силой музыкальное произведение, как капитан фон-Отте— смерть, ожидающую его завтра утром. На вершине всех его усилий и трудов, над его призванием и всей его частной жизнью — царит смерть, как крест, венчающий главу церковного купола! Все его поступки и мысли непрестанно клонились, так сказать, к этой жертве, и, тем не менее, он не ждет этого момента с большей тревогой, чем вы когда-то ждали ваш первый концерт...

Он замолчал, как утомленный долгой ходьбою человек, задумался и снова начал, язвительно и горько усмехнувшись:

— Бедняга Фребель не так уж неправ! В нем есть только некоторая, совершенно бессознательная, театральность. Люди, вроде нашего капитана, никогда не умирают в одиночестве. Даже если бы неприятель уморил их голодной смертью в каком-нибудь подземелье, куда не может проникнуть ни один человеческий взгляд, то сознание, что они умирают за государя и отечество, окружило бы их мученичество неисчислимой толпой невидимых зрителей! Все полководцы, начиная от Ганнибала и кончая Наполеоном, Мольтке и самим Гинденбургом, все герои военной истории, все мои учителя и товарищи по корпусу, — словом, целая живая галлерея, — все они одобрят капитана фон-Отте, если он покажет французам, как умирает прусский офицер... Все дело в том, что у него есть вера! Он имеет право и обязан защищаться, ибо воображает, что тот же самый поступок, который бесчестит некоторых из нас, становится славным и почетным, если он помогает его повелителю увеличить его могущество и богатства! Он верит, что весь мир будет восхищаться его родиной, если ей удастся усеять чужеземную страну трупами ее сынов. Он искренно верит, что выполняет свой долг, содействуя, по мере сил, разгрому противника и доведя его до такого состояния, когда ему остается или погибнуть, без сопротивления, до последнего человека, или отдаться в рабство!.. Почему же ему не защищаться? Почему же ему не убивать и не рисковать своей жизнью, раз это убеждение всецело им овладело? Да он скорее откажется от жизни, чем от этой чести?.. Дело только в этом! Нам поступать таким же образом гораздо труднее, потому что мы должны умирать во имя

веры капитана, а не ради того, что мы считаем хорошим и необходимым. Разница только в цели. А смерть остается в удел и нам... Но если я попытаюсь выдвинуть на первый план мой идеал, тогда жертва становится уж не такой тяжелой. Я не нанесу ни одного удара штыком и не стану стрелять, ибо если другие люди готовы, в своем ослеплении, отнять у меня жизнь, то у меня нет никакого основания им подражать. Я умру во имя того, что считаю своим долгом, во имя того, что полагаю справедливым и почетным, совсем, как господин капитан!.. Пожалуйста, не пытайтесь меня переубедить. Это было бы бесполезно! К тому же, вам пора уходить! Было бы очень неприятно, если бы вас застали здесь. Мы еще увидимся. Быть может, дело не зайдет так далеко... Быть может, мы отступим раньше, чем нас атакуют французы? А теперь, пожалуйста, уходите!

И в шутку, но с легким оттенком серьезности, он пригрозил:

— Иначе я буду вынужден опять надеть маску начальника и заставить вас удалиться!

После некоторого колебания, Гадский согласился уйти. Но когда, двинувшись к выходу, он еще раз взглянул на эту почти враждебную ему комнату, среди которой он и Крюлов пожимали друг другу руки, в его памяти вспыхнули вдруг слова Фребеля: „Не играют ли все они здесь комедию?..“ И, в самом деле, не было ли все это искусной театральной декорацией? Или пятым актом эффектной героической драмы: двое мужчин, обменивающихся в ночной темноте крепким рукопожатием, а за ними — смерть, подстерегающая двух молчаливых, решительных и недоступных для слез людей...

Нет, нет! этот человек не играл комедию! Вполне искренне он был готов бросить на ветер свою молодую жизнь, не думая о красивых жестах, которые могли бы только его унизить и замарать... И все же, — Гадский чувствовал это в тот момент с жестокой ясностью, — и все же, все эти храбрецы, громко ораторствовавшие в землянках, в минуту великого расставания, о необходимости жертвы и восхвалявшие непоколебимую доблесть, — все они играли комедию! Их пафос звучал фальшиво. Как бы почетна ни была их безмолвная решимость, каким бы безразличным ни было для них мнение толпы, в глубине души они все еще чувствовали далекое юношеское восхищение героями, бросавшими свою жизнь, как сломанную игрушку; они все еще были во власти лихорадочного жара проведенных за книгами ночей; они все еще находились под отравляющим действием насыщенной кровью и слезами традиции!.. В сердце Гадского вспыхнуло смутное ободряющее предчувствие нового романтизма, который родится из лона несокрушимой любви к жизни Фребеля и из фантастического, способного преобразовать мир, уважения Крюлова к жизни своего ближнего... Но почти тотчас же, когда холодная и слегка дрожавшая рука прапорщика вытолкнула его из помещения в холодный мрак, он снова впал в отчаяние при виде настоящего.

С минуту Гадский оставался в нерешительности. Рыдания подступали к его горлу. Он хотел, было, вернуться и настаивать до тех пор, пока Крюлов не даст ему обещания. Но потом, передумав, он взял в руки винтовку и, глубоко вздохнув, дал себе клятву держаться, по возможности, возле прапорщика и, без колебаний, принять за него смерть...

Гадский направился к своей собственной землянке, но почти у самого входа он неожиданно повернул в другую сторону. Он решил провести наедине с самим собой те несколько часов, что еще оставались до рассвета, и, в особенности, не видеть плаксивого лица и полных немого укора глаз несчастного Фребеля. Он поднял воротник своей шинели и принялся выискивать укромное местечко. Не удастся ли ему заснуть на то время, что еще оставалось ждать? На востоке черное небо уже окрашивалось, над линией траншей, в темно-синий цвет; ветер утих; где-то в вышине, под невидимым сводом, слышалось что-то вроде шороха раздувавшихся парусов.

В нескольких шагах от пустого зарядного ящика, к которому направлялся Гадский, он заметил солдата, прислонившегося головой к стенке окопа; подойдя ближе, он узнал „комического певца“.

— Ну, что я вам говорил? — грустно сказал маленький портной.

Несмотря на всю жалость и некоторую симпатию, которые внушал ему этот несчастный, Гадский не мог удержаться от улыбки, услышав его монотонный, но приятный голос, напомнивший ему о веселых ночах в кафе-шантанах и о смешных анекдотах: здесь, в героической рамке из наваленных мешков и тяжелых мортир, этот человек показался ему таким странным, таким неуместным...

Гадский с трудом подыскивал слова, которыми он мог бы утешить эту полную страха душу. После минутного колебания, он решился рассказать солдату историю пленения старшего Крюлова, но сделал это так робко, что его рассказ не произвел большого впечатления. Маленький портной хранил

молчание, серьезно покачивая головой и стараясь скрыть в тени свое лицо от испытующего взгляда своего собеседника. Наконец, он поднял плечи до ушей, всплеснул руками и с горечью возразил:

— Фон-Крюлов?.. Да, ведь, он был отличным кавалеристом уже тогда, когда еще сосал соску. Если бы такой заряд влепили в мои жалкие легкия портного, я умер бы раньше, чем французы добрались бы до нашего окопа. Впрочем, зачем стараетесь вы обнадежить меня? Лучше помогите мне отказаться от надежды. С шести часов я повторяю себе, что погиб... и не могу заставить себя поверить этому.

Гадский опустил голову и уставился на свои сапоги. Было грустно слышать этого находчивого шутника, говорившего теперь совсем не так, как обычно!.. Ей-Богу, он был прав! Зачем его обнадеживать? И все же, Гадскому было трудно оставить этого покорившегося своей судьбе человека, отчаяние которого делало его почти таким же смешным, как и нахлобученная на него каска. Перед уходом, Гадский положил руку на плечо портного и сказал ему теплым, сердечным тоном:

— Не оставайтесь один. Вы почувствуете в себе больше мужества, когда будете на людях, и скорее успокоитесь...

Но он не успел окончить фразу, как плечо „комического певца“ выскользнуло из-под его руки, а его голос, показавшийся ему незнакомым и враждебным, заставил его отшатнуться в испуге:

— Это пристало унтер-офицеру Фребелю, а не мне. Об этом, как раз, я и думал, когда вы подошли. Ведь, вы счастливчики! Если вы храбры, вы сражаетесь, как все доблестные немцы. Но если, сидя

в землянке, вы бледнеете, как полотно, чуть не плачете, вы — трусы, вроде Карла Фребеля, и только! Но я — иудей, и мне приходится прятаться, чтобы за мои вздохи и стоны не отвечали мои товарищи, евреи... Какая кому польза, если я стану героем, если я умру здесь благородной смертью, как какой-нибудь истребитель драконов или укротитель львов, а не как бедный еврейский портной?! Никому, никакой,—скажу я вам!.. Ведь, когда мои несчастные малыши подрастут, их, все равно, будут называть трусливыми жидами, не считаясь с тем, был ли их отец тигром или зайцем...

Гадский выслушал с волнением этот взрыв горького гнева, хлеставший его по лицу, как отравленный вихрь. Неужели это говорил „комический певец"? Несколько месяцев он, Гадский, жил бок-о-бок с этим человеком, даже не подозревая о пожиравшей его ненависти.

— Ваши дети не будут страдать от этой клички!— произнес он тоном, в который хотел вложить уверенность. — Вы...

Его прервал недоверчивый смех.

— Да? Вы так думаете? Ну, тогда я вам кое-что расскажу... Вчера была моя очередь прибирать комнату господ офицеров. Я взял несколько старых газет, из тех, что получает наш капитан. Не хотите ли прочесть одну статью? Вот! Здесь написано черным по белому, что мы, евреи, — коршуны этой войны, что мы поставляем бумажные подошвы, что мы занимаемся только спекуляцией, что только мы заполняем лучшие рестораны. Автору статьи неизвестно, что в моем батальоне есть четыре еврея! Но он, как видно, тоже посещает хорошие рестораны, иначе он не знал бы,

кто там обедает!.. Однако, скажите мне, пожалуйста, почему он не читает с бо́льшим вниманием последние страницы своей газеты, где он мог бы найти среди героев, удостоенных Железного Креста, Зигфрида Кона, Морица Розенталя и тому подобных? Оставьте же меня в покое! У моих детей, как и у меня, кривые ноги и горбатые носы. Все те, с кем им придется потом иметь дело, будут думать только о жирных, осыпанных бриллиантами, прохвостах, которых они когда-то видели обжирающимися омарами, и никто, говорю я вам, никто не подумает о тысячах людей с горбатыми носами, павших на этих полях и изглоданных червями! Не оправдывайтесь! Вы не можете этому помочь!..

Глубоко тронутый неожиданным и столь благодушным заключением речи маленького еврея, избавившего его от тяжелых возражений, Гадский протянул ему руку. Он почувствовал заключавшуюся в откровенных словах „певца" робкую признательность, и ему стало стыдно от той сердечности, с которой бедняга ответил на его пожатие. Разве он, Гадский, не принимал раньше деятельного участия в дешевых шутках, когда там, в тылу, толстая, расфранченная жена портного приходила в казарму навещать своего мужа, таща за собой двух мальчуганов с оттопыренными ушами?.. Какую покорность Провидению должен был таить в своей душе, под маской доброты, этот набожный маленький солдат! Сколько труда стоило ему сдерживать свое раздражение! И когда в предсмертный час, в укромном уголку, куда он упорно уходил, словно раненое животное, от людей, кто-то ему сказал несколько теплых слов и выслушал, с покровительственным видом, неожиданную вспышку его

гнева; когда кто-то пожертвовал ему, словно милостыню, несколько минут внимания, — он счел себя щедро вознагражденным и пожимал руку своего врага с таким жаром, как будто она не била, а ласкала...

Было трудно что-нибудь ответить на резкую речь маленького портного. Ведь, она вырвалась у него не в результате мимолетного настроения. Она созрела в нем за долгие часы и дни тяжелых унижений.

— Вы видите вещи в слишком мрачном свете, — произнес, после некоторого колебания, Гадский и сейчас же испугался холодности и банальности своих слов. Но его испуг сменился стыдом, когда „комический певец", с примирительным смехом, добродушно возразил ему нехитрым каламбуром:

— Действительно, вы правы, ведь я — Шварц![1])

Как и раньше, в комнате офицеров, у Гадского создалось впечатление, будто он находился на сцене. Он задал себе вопрос: „Зачем все мы играем здесь друг перед другом комедию?" И, выпустив руку портного, он собрался уходить, почти не веря, что одно только его присутствие придало этому славному трусу силу шутить!

— Желаю вам удачи! — бросил он ему, обернувшись.

Маленький еврей рассмеялся:

— Удачи? Что вы называете удачей? Не пожелаете ли вы мне хорошую пулю в лоб?

Гадский ушел под эти саркастические слова и невольно пожал плечами, окончательно побежденный удивительной гибкостью своего странного

---

[1]) Schwarz, по-немецки, — черный.

собеседника. Крупными шагами вернулся он к пустому зарядному ящику и прижался к нему, почувствовав себя совершенно разбитым, словно на него налегло все то горе, которое он видел за короткое время своей необычной прогулки по окопам. Ему казалось, что прапорщик фон-Крюлов передал ему свое твердое решение умереть, Фребель — свой безумный страх, а маленький еврей — свою ненависть раба... Но все это были такие жалкие, ничтожные мелочи! Крохотная дрожащая капелька, которую завтра утром высушит первый же луч солнца!

Прапорщик фон-Крюлов, „комический певец" Карл Фребель, весь его, Гадского, батальон и десятки соседних батальонов, — все они, вместе взятые, не стоили того, чтобы о них говорить! Главное — удержать врага, пока армия не займет новых позиций, и если это удастся, то завтра вечером весь мир обежит ликующее сообщение: „Наши войска успели, с самыми незначительными потерями"... или: „Обманув бдительность противника, наши части"...

„Незначительные потери", — но, ведь, это значило: все они! Тревоги этой последней ночи, боязнь и надежда, владевшие каждой душой, весь этот резервуар, наполненный жадным стремлением к жизни... вот что значили „незначительные потери"! Мелкая монета, которую тратят, не считая...

Ночная тьма уже слегка окрашивалась в сероватый цвет, давая возможность различать концы положенных на дне траншеи досок, выступавших из-под ног Гадского, еще тонувших во мраке. Смутно мелькали брошенные там и сям на земле лопаты и другой шанцевый инструмент и чернели ряды прислоненных к стенкам ружей. Мало-по-малу

из темноты стали выступать очертания других предметов, которые Гадский старался определить. И в то время, как он следил глазами за проступавшими перед ним контурами, превращавшимися постепенно то в лопату, то в ружье, то в топор, его мозг неустанно сверлило одно выражение: „Предмет неодушевленный... предмет неодушевленный... предмет неодушевленный... И он шептал, отчеканивая слоги, эти слова до тех пор, пока они не вылились в определенную форму, пока заря не придала им вида твердых тел, вцеплявшихся в Гадского, как разъяренные собаки. „Предмет неодушевленный!“ .. Странный смысл этого выражения не покидал ни на одно мгновенье Гадского, и он развивал и углублял в своем уме его значение, не сознавая, что его устами говорило безумное желание стать таким же неуязвимым и бездушным...

Ведь ничто, решительно ничто не имело силы над неодушевленным предметом! Граната могла разбить в щепы приклад, свернуть в кольцо дуло, исковеркать его, — но мертвая вещь не могла умереть! Страшный переход в бесчувственное состояние, разрыв с жизнью, неразрешимая загадка трупа, — ничего этого не знал счастливый мертворожденный предмет! Несчастный Фребель был прав: не так-то легко свыкнуться с мыслью о том, что станешь похожим на эту лопату, силуэт которой медленно отделялся от стенки окопа! А между тем, ведь, это была действительность! Завтра уцелевший в живых пройдет, быть может, по этой сломанной рукоятке или... или по безжизненной груди Георга Гадского...

Вдруг он привскочил, рассердившись на самого себя, и стал разглядывать через бруствер рассти-

лавшуюся перед ним равнину. Его взгляд встречал лишь огромное, еще пустынное пространство. В окрашенных в серо-серебряный цвет потемках были видны только ближайшие колья проволочных заграждений да соседние холмики.

„Там, — думал Гадский, — за этим опущенным занавесом, еще скрывавшим оба лагеря, были также люди, которые, как и он, сжимали голову обеими руками, стараясь с тревогою угадать, что готовило им утро. Быть может, среди них были его знакомые, даже друзья... сын его возлюбленной, муж или брат женщины, еще хранившей на своем лице следы его жгучих поцелуев?.. Быть может, один из тех, кто, менее года тому назад, восхищался им на концерте и пожимал ему руки, убьет его ударом приклада или штыка, как зловредное животное! За что?“

Разве это не безумие? Не бред слепца?

Невольно мысль Гадского перенеслась к первой и единственной рукопашной схватке, в которой ему пришлось участвовать. И эта картина недавнего прошлого убила в нем всякую надежду... С нервной дрожью он снова пережил все ужасы этого боя и рисовал себе их повторение в ближайшие часы. Много подробностей ускользало из его памяти, потому что с момента, когда его рота повела атаку на открытом месте, он почувствовал, как им овладела какая-то изумительная спокойная уверенность. Казалось, что кто-то чужой неожиданно взялся управлять его руками и ногами. Кровь шумела у него в ушах; красная завеса застилала его глаза; он ничего не видел и не слышал; лишившись воли, со слепым доверием, он позволял руководить собой какой-то незнако-

мой ему силе, ставшей вдруг его господином. Он бежал, словно кто-то тянул его на поводу, он бессознательно подымал руки для защиты и наносил удары с бешенством, кипевшим в его теле, но не в его сознании!.. Находился ли он во власти инстинкта самосохранения и той повелительной жажды жизни, которую ему внушила налетевшая на него опасность? Он этого не знал...

И вдруг, на фоне этой страшной картины, перед Гадским мелькнуло далеким, мерцающим образом одно воспоминание, погребенное в глубине его души, — одно из тех тягостных переживаний, к которым люди возвращаются очень неохотно... Он вспомнил свое неожиданное пробуждение после этой схватки и свой ужас, когда он увидал, что его руки были залиты кровью...

Найдет ли он снова эту таинственную уверенность перед лицом еще более определенной опасности?

Гадский обернулся. Он уже мог видеть окоп во всю его длину и различать каждый мешок и каждое ружье.

Скоро станет совсем светло.

Резко вздрогнув, Гадский отошел от стены, у которой он стоял, прислонившись, и снова направился по дороге к землянке. Под открытым небом нечего было и думать о сне! Свежий и бодрящий утренний воздух медленно возбуждал все его чувства... Нет, лучше пойти туда, где были задумчивые товарищи с их тревожными и тоскливыми мыслями, где порожденная ими удушливая атмосфера заволакивала, как густым туманом, и глаза и душу.

На полдороге Гадского поразили знакомые звуки: острый, пронзительный визг, который, поднявшись, с быстротой молнии, где-то вдали, медленно, словно задерживая свой полет, опускался затем где-то неподалеку. Тяжелые снаряды!.. Гадский остановился и согнулся, съежившись и телом и душой, несмотря на то, что уже привык к этому явлению. „Чемоданы" ложились совсем близко, взметая на головокружительную высоту колья проволочных заграждений и сея вокруг камнями и землей. Со всех сторон бежали солдаты с заспанными глазами и с одеялами в руках, напоминая затравленных зверей, удиравших в паническом страхе в свои логова. Гадский пустился бежать вместе с другими, как вдруг, неожиданным давлением воздуха, он был с силою прижат к стене; среди грохота взрыва и обвала, он услыхал позади себя крики и стоны, но, не оборачиваясь, продолжал мчаться вперед.

У входа в землянку старший лейтенант беседовал, с деланным спокойствием, с молодым подпрапорщиком. Гадский еще издали почувствовал его презрительную улыбку при виде беглецов и, замедлив тотчас же шаг, тихо прошел перед обоими офицерами, гордо закинув голову назад. До его слуха донеслись резкие слова: „Живее! Не отставайте!"

„Да, Фребель был прав, — подумал он. — Разве моя жизнь стоит дешевле одобрения начальства?"

Он назвал бы безумцем всякого, кто год тому назад сказал бы ему — Георгу Гадскому! — что он дойдет до притворства, что, ради прекрасных глаз какого-то ничтожного мелкого банковского чинов-

ника, он будет насиловать свою волю только потому, что тот носит серебряные погоны!..

Сжав губы и пылая бешеной злобой на самого себя и на этого отвратительного субъекта, заставлявшего людей, как ученых собак, прыгать сквозь огненные обручи, Гадский устремился в угол и бросился, в полном изнеможении, на свой мешок, обливаясь потом и ругаясь. Он был без сил. Он устал от этой подлой игры, от этой комедии, все акты которой были бы глупы и постыдны, если бы не порождали таких потоков крови!.. Оглянувшись вокруг, Гадский увидел себя стиснутым со всех сторон разгоряченными и запыхавшимися телами, и ему показалось, что его похоронили в могиле, набитой грязными солдатскими сапогами.

Землянка была переполнена; нельзя было пошевельнуться, не получив в ответ потока мерзких ругательств. Со всех сторон на Гадского смотрели искаженные лица, полные смертельного страха и невыразимой тревоги... „С незначительными потерями...“ — прошептал он иронически.

Запечатлев эту картину в своих широко раскрытых зрачках, Гадский опустил голову и закрыл глаза, будучи больше не в силах переносить раздражавшее его зрелище безграничного отчаяния. На секунду его охватила надежда, что все это только страшный сон, что сейчас он проснется. Надо только уничтожить все эти орудия смерти, прекратить эту бесполезную пытку. Он хотел улыбнуться, протянуть руку, чтобы вызвать желанное пробуждение, но, ослабевший и безвольный, он вдруг уснул... А наверху ежеминутно взрывались снаряды. Каждую секунду груды взметаемой земли грозили завалить вход в землянку. При каждом

новом громоподобном сотрясении почвы, лица еще более бледнели. Укрывшиеся в норе люди уже видели себя раздавленными и погребенными... Гадский спал. Обессиленный спертой атмосферой забитой телами землянки, он погрузился в тревожный сон, кишевший причудливыми, быстро сменявшими друг друга видениями и образами. Ему мерещился его собственный труп, превратившийся в маленькую серую кучку, как тот разложившийся „француз". Он ясно видел самого себя, он отчетливо слышал, как товарищи говорили о том, что он убит, и с радостью убеждался, что сознание не уничтожается вместе с жизнью. Он чувствовал какую-то болезненную удрученность, будучи не в состоянии вспомнить момент своей смерти. Он мучился, стараясь установить, был ли этот переход очень тягостным или совсем не таким ужасным, как это обычно себе представляют; он готов был побить себя за то, что так быстро все позабыл... Но... но, ведь, он не сможет умереть во второй раз! Значит, эта неопределенность не перестанет тяготеть над ним? Гадский, обливаясь потом, напрягал изо всех сил свою память, как вдруг он очутился на ногах, живым, в кругу своих парижских друзей. Все те, кто раньше им восхищался там, во французской столице, все они теснились теперь перед ним, одетые в какие-то странные мундиры и костюмы; тут были и женщины, горячо пожимавшие ему руки и разговаривавшие с ним без малейшей вражды. Он вздохнул свободно; когда его старый покровитель маркиз де-Пюи, в форме генерала и с усыпанной орденами грудью, рассеял толпу и увез его с собой на автомобиле. Гадский отлично помнил, что этот старик умер

задолго до войны, и что, по просьбе его семьи, он даже играл на органе в церкви св. Магдалины во время торжественного отпевания его тела... У Гадского явилась мысль спросить генерала, что он вынес из опыта своей смерти... Но машина неслась с такой быстротой, что ветер захватывал дыхание, и он не мог произнести ни слова. Вдруг мотор страшно загремел. В ужасе Гадский ухватился за дверцу автомобиля и... упал, плача от радости, в объятия Матильды!.. Он поднялся вместе с ней на крыльцо какого-то прекрасного дома и, пройдя ярко освещенные комнаты, немедленно исчезавшие позади него, увлек ее к роялю. Он испустил безумный крик восторга, когда его пальцы — наконец-то! — коснулись клавиатуры, но он болезненно застонал, увидев, что его ноги были отрезаны выше колен! Их жалкие обрубки не доходили до педалей, несмотря на все усилия Гадского вытянуть их как можно дальше... Вне себя, он ударил кулаком по проклятому инструменту, закричал от ярости и... проснулся...

Совершенно расстроенный и сбитый с толку, он оглянулся вокруг себя, все еще преследуемый своим собственным криком, вылетевшим, однако, в ту минуту из чужих уст... Старший лейтенант, весь истерзанный и разбитый, плавал в своей крови в двух шагах от него, корчась в ужасных судорогах и делая нечеловеческие усилия, чтобы высвободить свои руки и ощупать пальцами свои зиявшие раны. Мало-по-малу Гадский узнал также и капитана, тревожно склонившегося над умирающим, и сразу вскочил. Что случилось? У капитана тоже, кажется, на лбу кровавая рана? А там... этот густой слой липкой грязи?.. Должно быть, бомба...

А где Крюлов?.. Гадский вздрогнул, словно его сердце пронзил ледяной клинок. Где Крюлов?.. С лихорадочной быстротой его глаза обежали присутствовавших, и все предметы запрыгали вокруг него, когда он убедился, что дорогого ему человека в землянке не было... Он вышел из своего угла, поискал у входа, осмотрел все лежавшие на земле тела — напрасно! Шатаясь, он прислонился к стене, с трудом сдерживая подступавшие к горлу рыдания. После минутного колебания, он решил справиться у одного подпрапорщика, который был, повидимому, очевидцем события, так как был покрыт с головы до ног грязью.

— У прапорщика, — ответил тот, — редкое счастье: за час до бомбардировки он ушел из блиндажа, чтобы выполнить какое-то поручение.

Гадский не мог точно узнать, куда послали Крюлова. Он мог лишь догадываться, что дело шло о совместных действиях с соседним батальоном, потому что во время беглого разговора, когда прапорщику давали приказание, была произнесена фамилия молодого лейтенанта из ближайшего полка.

Успокоившись, Гадский отошел в сторону, старался отогнать осаждавшие его тяжелые думы. Он не хотел... нет, он не хотел... завидовать! Стиснув кулаки, он пытался бороться со своими собственными мыслями... но в его ушах непрерывно звучало, как трубный глас, одно слово: „Спасен!"

Неужели он завидовал? Нет, чорт возьми! Этому юноше, в груди которого билось такое доброе, такое отзывчивое сердце, он желал жить, даже в случае... Да, да!.. Он желал Крюлову...

Пред Гадским мелькнуло видение... Цветущий сад лазарета... а за кустами сирени — прапорщик

и еще двое других... Он быстро отогнал свои мысли, стыдясь своей низкой зависти. Желая сосредоточить свое внимание на чем-нибудь другом, он нервно забегал вокруг глазами, как вдруг заметил посредине землянки небольшую кучку, прикрытую унтер-офицерской шинелью. Сколько глубокой тайны было в скрытом под нею покое! Среди сотни спящих людей Гадский всегда бы узнал, с первого взгляда, эту странную шинель, которая прикрывала мертвеца: столько было суровости в страшном молчании ее складок... „Живее! Не отставайте!“ — шутил несколько минут тому назад лежавший под нею человек, как будто смерть была для него детской забавой. Теперь он успокоился навсегда, придя первым к цели. Его уж не тревожил свист гранат, сотрясавших землянку и глубоко взрывавших землю... Если „поручение“, которое дали Крюлову, надо было выполнить под этим адским огнем, то у бедняги было, конечно, „редкое счастье!“ Кто знает! Быть может, он уже „спасся“, по примеру вот этого, где-нибудь в воронке от разорвавшегося снаряда? Такой ценой он освободился, без сомнения, от всех цепей.

Редкое счастье?.. Что такое, в самом деле, счастье? Хорошая пуля в лоб?

Но куда девался „комический певец“? Гадский старался разглядеть, что происходило вокруг, как вдруг глаза его неожиданно приковала к себе необычайная сцена. Неподалеку от него, разводящий оживленно что-то доказывал кому-то невидимому. Он резко жестикулировал и, вытирая мокрый от пота лоб, старался силой поднять сидевшего на земле, в густой тени, человека, боязливо поглядывая все время на разговаривавшего с горнистом капитана.

Гадский, заинтересовавшись, подошел поближе и узнал „капуцина“, — загадочного солдата, попавшего в батальон незадолго до его отправления на позиции. Этот человек, упорно избегавший разговоров, сидел на полу землянки с молитвенником и четками в толстых пальцах и, бледный, как мертвец, упрямо качал головой. Он отказывался... он не желал подниматься наверх. Наступила его очередь итти в караул... но он не хотел!.. В сущности, он был прав. Пока артиллерия работала с таким усердием, неприятель навряд ли выйдет из своих окопов. Но что, если капитан!.. Гадский с тревогой проследил взгляд разводящего и облегченно вздохнул: капитан все еще разговаривал.

— Я не пойду! — громко заявил „капуцин“.

Все присутствовавшие моментально оглянулись, и сноп любопытных и полных изумления взглядов устремился к тому месту, откуда донеслись эти слова.

Пот струился по лбу разводящего. С отчаянием он поднял руки и, возвышая голос, гневно сказал:

— Чорт возьми! Тут ничего не поделаешь!

Испуганный Гадский сделал „капуцину“ знак. Надо же быть благоразумным!.. Но тот не пошевелился. Прижав свои четки к груди и чуть не раздавив их, он упрямо покачал своей косматой головой патриарха.

В батальоне рассказывали, что этот солдат был раньше монахом и только незадолго до войны снова вернулся в мир, чтобы жениться по любви... Гадский вдруг вспомнил, что на пути из казармы на вокзал, он, действительно, видел шедшую рядом с „капуцином“ бесцветную блондинку всю в слезах.

Ему тогда показалось, что она была беременна. Его сердце сжалось при мысли, что слышанный им рассказ мог быть правдой, И в самом деле: этот гигант был похож на человека, способного ради женщины поставить вверх дном свою жизнь. Неужели он добровольно пойдет на смерть из-за того, что война разбила его счастье, добытое такой дорогой ценой?

Острым, как игла, взглядом Гадский впился в белое, как мел, лицо „капуцина". Ему очень хотелось подойти ближе, но он не посмел, так как находился между капитаном и двумя другими офицерами. Почему он никогда не обменялся ни одним словом с этим солдатом? Именно с ним?

— Я не пойду!

Эти ужасные слова еще раз прозвучали среди быстро нароставшей тишины. Они были сказаны так громко, что разводящий потерял всякую надежду и решительно отвернулся.

„Не надо... Не надо..." — с мольбой зашептал про себя Гадский, как он это делал ребенком, когда, не зная хорошо урока, видел, что учитель, перелистывая классный журнал, приближался к его фамилии. Голос капитана раздавался все яснее среди тревожного молчания, сковавшего всю землянку. Резкие, как взмахи бритвы, жесты разводящего довели до высшей степени напряжения и без того уже возбужденные нервы присутствовавших.

„Не надо!" — простонал Гадский... Но сзади него уже прогремела страшная фраза, остановив биение его стучавшего, как часы, сердца.

— Ну, что там такое?

О, как ненавидел Гадский этот грубый, отвратительный голос. Он проник в него с такой силой, что ему стало дурно, и он заткнул себе рот плат-

ком. Бородач медленно поднялся. Молчание, словно готовый захлопнуться капкан, стало еще напряженнее, и все головы поникли, как будто их притянули к земле. Разводящий, весь в поту и заикаясь, подошел к капитану, делая руками отрывистые и безнадежные движения. В эту минуту „капуцин" вдруг раскрыл рот и бросил в лицо офицеру стегнувшие того, как хлыстом, слова:

— Я не пойду!

Капитан отскочил назад, выдвинул вперед свою нижнюю челюсть, как собирающаяся укусить собака, и заорал на великана. Но тот моментально задрапировался в свое невозмутимое спокойствие. И только после того, как офицер положил руку на кобуру своего револьвера и с бешенством повторил свой вопрос, только тогда едва заметная дрожь пробежала по могучему телу „капуцина", а его бледные губы, с глухим скрежетом, словно они скоблили каменную глыбу, выплюнули сквозь густую бороду к ногам спущенного с цепи бульдога в мундире одно единственное слово:

— Нет!

У всех находившихся в землянке сперло дыхание! Они застыли, точно каменные... Сотня искаженных и неподвижных лиц стойко выдержала взгляд капитана, когда он, скользя, как ядовитая жаба, по рядам людей, недоверчиво впивался в их глаза. Наступило грозное молчание... Как хищный, готовый прыгнуть зверь, оно нацелилось сотней когтей на плечи укротителя, когда он, приняв моментально решение, выхватил револьвер и прицелился.

„Не надо!" — воскликнул про себя Гадский. Он зажмурился, заткнул уши.... но выстрела не последовало. Офицер опустил оружие и плюнул:

— Даже твой труп, паршивый пес, не должен лежать среди честных солдат!

И визгливым, почти срывавшимся голосом, он скомандовал:

— Унтер-офицер Фребель, возьми пять человек!..

Гадский вздрогнул всем телом! Это... это невозможно!.. Фребель! Карл Фребель, только что валявшийся, плача и рыдая, у него в ногах... Неужели он... согласится?..

Нет!.. Глаза Гадского широко раскрылись от ужаса, когда позади него, у входа в землянку, показался силуэт унтер-офицера и начал, тихо пошатываясь, приближаться, словно колеблемый ветром огонек. Неужели он, действительно, согласится?

Взгляд Гадского испытующе побежал от одного солдата к другому, но никто не вышел на призыв начальника. В угрюмом оцепенении стояли люди, не двигаясь с места. По напряженному, инквизиторскому лицу капитана разлилась волною ненависть. Он невнятно пробормотал ругательство и движением руки указал пятерых человек, из тех, что были к нему поближе.

В этот трагический момент, когда Гадский начал придвигаться к Фребелю, мучительно борясь с желанием отклонить его от... в этот момент, когда волнение стало невыносимым, произошло неожиданно чудо.

„Капуцин“ запел.

Сильный, чистый и полный задушевной нежности баритон вырвался из его груди; сверкая, как дикий мед, золотистыми переливами, он понесся ввысь и, раздвинув своды зловонной землянки, затопил ее солнечным сиянием и чистым горным воздухом. Бородатый человек пел Ave Maria, и благочестивая

молитва, развернув свои широкие крылья, о чем-то просила и рыдала; моментами казалось, что в горле у певца играла драгоценная старинная виолончель, дерево которой почернело за долгие века ее жизни.

Гадский прислонился к стене и протянул вперед руки, как бы готовясь заключить в объятия свою вновь обретенную возлюбленную. „Музыка! Музыка!“ — ликовал он. Он весь засиял гордой радостью, словно был отцом, сыном или братом певшего голоса; его вспыхнувшие, как уголья, глаза пытливо скользили по прояснявшимся чертам людей и хотели, казалось, заставить каждого из них упасть на колени перед этим чудом, перед его искусством... его... искусством!

„Et benedicta tu“, — торжественно звучала песнь, лучезарные ноты которой возносились все выше и выше к небесам. Они окрыляли усталые души и снимали тяжесть утомления с обессиленных членов. Окружавшие певца измятые лица посвежели. Несчастным узникам землянки казалось, что они отделялись от земли, что, подхваченные дивным голосом, они летели прочь из державшей их проклятой берлоги, из страшной коптильни; они забыли о страхе смерти, чтобы погрузиться в океан нежной любви.

„Музыка!“ — ликовал Гадский, смело глядя на бульдога. И чувство горячей благодарности наполнило его сердце, когда он увидел, что даже эта суровая и злая физиономия смягчилась и что произнесенная с сжатыми кулаками команда: „Вперед! Вперед!“ — с резким жестом в сторону выхода, — была скорее похожа на призыв о помощи, чем на угрозу!

Затаившим дыхание людям казалось, что сильными взмахами смычка незримый музыкант извлекал из чудесного инструмента его душу, с плачем молившуюся Божией Матери: „Ora pro nobis, nobis peccatoribus"... Свободно проникал в легкие воздух... Певец словно вбирал его в себя из всех грудей, чтобы взметнуть его в вышину и, очистив, погрузить в поток бесконечной гармонии.

„Музыка!.." От счастья Гадский закрыл глаза. Он слышал внутри себя дивный аккомпанимент, как будто пальцы его играли на невидимых клавишах сурового и торжественного органа, ткавшего свою прекрасную и мрачную мелодию. Звуки поднимались и росли, словно лес благородных сосен, сочные стволы которых щедро расточали благовонную смолу радостного и звучного человеческого голоса.

„Музыка!.."

Гадский отделился от стены и пошел за певцом, как фанатик за религиозной процессией. Он позабыл о том, куда и к кому неслась песнь „капуцина", окруженного заряженными ружьями; он утратил представление о смерти, о капитане, обо всем... Он слышал только „музыку!" внимая ей всем своим существом, всей своей душой! „Возьмет ли он это *ля*?" — с беспокойством спрашивал себя Гадский и напрягал свои мускулы, горя желанием помочь голосу и поддержать его, если ему не удастся подняться до предельной высоты.

Но певец взял это *ля*!.. Он вышел из темного прохода, который вел к выходу. Там, наверху, его пение звучало сначала мрачно и угрожающе, но потом, преобразившись, стало шире и пра-

вильнее, напоминая увлекающее корабль могучее течение.

Гадский забылся... и неожиданно вздрогнул, когда голос вдруг ослаб и, поглощенный открывшейся перед ним траншеей, куда он направлялся, стал доноситься, как далекое эхо. Гадский хотел за ним последовать, но он внезапно замолк, прерванный как бы четырехкратным щелканьем хлыста, за которым, с некоторым опозданием, последовал такой же пятый звук. Кто-то проревел:

— Мерзавцы! Уж не собираетесь ли вы загородить дорогу?

Что-то темное вихрем промелькнуло мимо Гадского и понеслось к месту, где только что прекратилось чудо.

С минуту он ничего не понимал. Он не хотел сначала верить, что такая красота может быть уничтожена и разбита, как оконное стекло... Вне себя, он дико закричал и бросился с сжатыми кулаками на убийц, готовый задушить всякого, кто осмелился бы обратить в прах священный инструмент, который сам Господь Бог взял в руки, чтобы на нем играть!

Четыре сильных руки отбросили Гадского назад. Он услышал позади себя злобный рев и, наконец, не соображая, чего от него хотели, зашатался, зарыдал и упал на землю, обессиленный пережитым им небывалым волнением...

Безумный, похожий на вопль, крик наполнил землянку и прокатился по ходам сообщения окопа, где только что звучала сладчайшая гармония. Этот крик, пробудив ответный отголосок в сотнях грудей, вернул Гадского к жизни. Помимо своей воли, он дал себя увлечь человеческому потоку;

осыпаемый толчками и пинками, он добрался в невероятной давке до выхода и начал приходить в себя только тогда, когда в его легкие ворвался холодный бодрящий воздух. Окончательно очнувшись, он оставался несколько секунд без движения, пораженный страшными опустошениями бомбардировки, которые бросились ему в глаза. Он заметил певца, лежавшего с залитой кровью бородой, с еще открытым ртом... И его поразил визгливый голос капитана... И снова в Гадском пробудился тот чужой человек, что вселился в него тогда, во время атаки, и снова увлек его навстречу опасности.

Он увидел, как вдали, словно морской прибой на южном побережье, бежала, по направлению к траншее, светло-голубая волна, быстро занимая воронки от снарядов, холмики и бугры. Безумно забурлила кровь в жилах Гадского; он невольно поднес руки к горлу, расстегнул воротник и закрыл глаза, почувствовав непонятное волнение, когда, покрывая все голоса, зазвучала могучая и увлекательная Марсельеза... Раньше он часто ее играл! Сколько раз, со свойственным ему мастерством, он развлекался, исполняя ее на рояле! А теперь она нападала на него, как бешеная собака, раскрыв пасть с острыми клыками из закаленной стали!..

Ладно! Он постоит за себя!..

И воодушевленный этим решением, Гадский прицелился и выстрелил. Он уверенно метил в выступавшие края голубой волны и, посылая одну пулю за другой, оставался твердым и невозмутимым, как будто все его силы сосредоточились в его пальцах... А человеческий поток полз по земле все ближе и ближе! Все неровности почвы, только что находившиеся далеко впереди него,

уже пестрели голубыми мундирами... Гадский стрелял, вынимая с механической точностью все новые и новые патроны из сумки и думая лишь о том, что ему необходимо, во что бы то ни стало, спасти свою жизнь...

„Formez vos bataillons!“—отчетливо слышал он среди гула пальбы! И непреодолимая мощь этого гимна, неуклонно стремившегося к своей цели, пробудила в Гадском злобу и храбрость. Он с ненавистью смотрел на этих солдат, которые, под звуки своей песни, подвигались вперед с такою же радостью, словно они шли на бал. Казалось, они хотели выполнить, как можно скорее, свой священный долг, заключавшийся в том, чтобы перерезать глотку Георгу Гадскому!.. Ну, нет! Этому не бывать, пока он сможет защищаться, пока он будет в состоянии пошевельнуть хотя бы пальцем! „Пойте! Пойте! Я у вас отобью охоту!“—прохрипел он, вне себя. Его руки судорожно сжимали ружье. Стиснув зубы, он заряжал и стрелял, стрелял и заряжал. Его глаза были широко раскрыты. Он с беспокойством следил, не поредели ли ряды наступавших. Но нет! Проклятая волна, казалось, была неспособной остановиться! Она катилась по полям, заполняя еще отделявшие ее от окопов темные борозды, неслась вперед все быстрее и быстрее и нисколько не уменьшалась, несмотря на множество голубых лохмотьев, которые она оставляла позади себя.

„Qu'un sang impur!“..—ревели совсем близко голоса... Гнев Гадского усилился. Он овладел всем его существом, до самой глубины его души. Весь во власти охватившей его ярости, он разряжал ее, громко бормоча:

— Посмотрим!.. Нечистая кровь! Нечистая кровь!.. Посмотрим!.. С вашей кровью смешается моя нечистая кровь!.. Смешается, да смешается!..

И, не сознавая, что говорит, он повторял после каждого выстрела:

— Смешается! Смешается!

Но наступавшие уже не позволяли убивать себя безнаказанно; они были уже настолько близко, что обрушили на окопы целый град ручных гранат. Первые снаряды упали в открытом поле. Гадский видел, как они попались, взрывали почву и вскидывали на воздух камни и комья земли. Он кипел безграничным бешенством. Вот как! Значит, и его горячее, тонко чувствующее тело будет разорвано, и его внутренности будут раскиданы по ветру, а его кровь и жизнь разлетятся мелкими брызгами!

— А! негодяи!.. Она смешается!.. Смешается!

А голубые ряды, как несокрушимые валы, прокладывали себе путь через груды наваленных деревьев; они опрокидывали столбы заграждений, разрывали колючую проволоку и подходили все ближе и ближе! Большинство из них уже не пело; кое-кто еще тянул бравурную мелодию, но ее заглушали хрипенье, крики и стоны раненых, которые бились, как огромные пауки, в проволочных заграждениях или погибали, как раздавленные червяки, под ногами своих бежавших вслед за ними товарищей... С каждой минутой они были все ближе и ближе!..

Гадский разразился проклятьями, когда увидел, что его сумка с патронами пуста. Надо раздобыть еще, надо взять у кого-нибудь. Он оглянулся — и пришел в ужас. Какие страшные потери с обеих сторон! Сколько жертв!.. Все дно траншеи было густо

усеяно ползавшими людьми, кишело живым слоем человеческих тел, откуда высовывались окровавленные члены. Там и сям сидели отдельные солдаты, рассматривая с невыразимой печалью свои раны. Значит... Значит, можно было мучить людей, давить их, выбрасывать в ямы, как нечистоты, по которым нельзя ходить без отвращения? Глядя на этот полный смерти и отчаяния ров, Гадский вспомнил слова Крюлова. Как угроза, коснулись они его слуха и прозвучали с такой силой, что показались как бы сказанными в рупор...Из глубины его души поднялось бессвязное, глухое рыдание, неудержимый протест; ему захотелось кричать, вопить, и он закричал, завопил сквозь свои слезы, как побитый палкой ребенок.

— Мерзавцы! — кричал Гадский среди оглушительного шума. — Мерзавцы!

Ему казалось, что он лопнет от ненависти. Всем тем, кто разостлал под его ногами этот страшный кровавый ковер; всем тем, кто, так или иначе, этому способствовал; всем тем, кто там, далеко, любовался делом своих рук и считал эту бойню славной, — всем им он хотел бы бросить в лицо это слово „Мерзавцы!" и повторять его до тех пор, пока у них не лопнут барабанные перепонки! Он хотел бы притащить их всех сюда, чтобы утопить их в этом месиве из истерзанных человеческих тел!..

— Мерзавцы! — орал охрипшим голосом Гадский. Гнев, который вызывали в нем доносившиеся к нему из окопов стоны, почти лишил его сознания. Но бодрствовавший в нем чужой человек, — его двойник, — хладнокровно, как генерал, руководивший его самообороной, заставил его повернуть

голову к куче ручных гранат, сложенных у бруствера, в двух шагах от него.

Волоча левой рукой ружье, Гадский бросился к снарядам, лишь смутно, по звуку своих шагов, чувствуя, что он ступал по еще живым людям... Но он страшно торопился. Он слышал, как там, наверху, стремительно приближался проклятый гимн, как стальные зубы уже скрежетали возле его тела. Он прижал к груди взятые гранаты и устремился назад.

Вдруг, на полдороге, он резко остановился и, несмотря на сделанное им неимоверное усилие, чтобы бежать дальше, он не мог двинуться с места! Он точно окаменел; ему казалось, что кто-то, в одно мгновенье, крепко приковал его глаза к лежавшему у его ног трупу. Это был Фребель, превращенный в большой ком крови, грязи и земли. Только правая половина его лица осталась невредимой и, искаженная горем, умоляла Гадского, жаловалась ему и упрекала его неслышными горькими словами... Но что мог он, в конце концов, поделать? Ведь, та же участь ожидала и его самого! И ему тоже придется пожертвовать этой бойне свое собственное тело, которое бурно протестовало!.. Говоря по правде, у него, Гадского, было больше причин, чтобы ненавидеть того, кто уже находился „в безопасности"...

Жгучая зависть высосала весь мозг его костей, и, вялый и безвольный, Гадский продолжал стоять у трупа, насыщаясь тайной его неподвижности, не знавшей ни страха, ни тревог. Возможно ли это?.. Карл Фребель перестал жить и лежал перед ним, как доска...

Резким толчком, сидевший в нем незнакомец вырвал его из когтей мертвеца, крикнув ему в уши,

что теперь дело идет о Георге Гадском, которого сейчас убьют, — да, убьют! — и безжалостно растопчут звери, уже ревевшие совсем близко от него.

Он побежал, вслед за другими, вон из окопа. По выступам и ступенькам импровизированных лестниц, подставляя друг другу плечи, люди карабкались наверх, чтобы неприятель не захватил их в узкой траншее и не перебил, как крыс в их норе. Задыхаясь под тяжестью взятых им гранат, Гадский спешил за другими и, не имея возможности пользоваться руками, с большим трудом взобрался на край окопа. Очутившись наверху и боясь отстать, он бросился вперед, — не думая о том, следовали ли за ним остальные — и помчался навстречу надвигавшейся человеческой волне.

Он попал в самую середину потока и моментально почувствовал, как его что-то завертело, ударило и захлестнуло... Через секунду он стоял один, шатаясь и ничего не сознавая от полученного им страшного толчка... Что случилось?.. Потрясенный и изумленный, он мало-по-малу сообразил, что слишком увлекся и что ряды наступавших, привлеченные направленными на них и поджидавшими их вооруженными руками, пронеслись с ревом мимо него. Левое плечо Гадского было покрыто горячей влагой; осмотрев его, он убедился, что рукав его шинели был разорван и весь в крови. Вероятно, кто-то нанес ему мимоходом удар. Однако, он мог владеть рукой! Он положил свое ружье и повернулся в сторону окопа, держа наготове гранату. Он застыл в таком положении, с открытым ртом, и его бледное лицо, все в поту, перекосилось от страдальческой гримасы, когда он увидел бушевавшее позади него бешеное безумие.

Встреченная Гадским волна рассыпалась на множество кучек, которые, сливаясь друг с другом, то выдвигались вперед, то отходили назад, чтобы соединяться в более значительные группы, распадавшиеся снова на несколько частей. Гимн смолк; немое бешенство бросало людей друг на друга, и в воздухе слышны были лишь удары прикладов, треск костей, крики, стоны и проклятия раненых. Гадский размахивал своей гранатой, не решаясь ее бросить, из боязни попасть в своих товарищей, если бы снаряд случайно угодил в одну из тесно перепутанных между собою кучек. Со всех сторон из бурлившей массы сражавшихся подымались то серые, то голубые руки, точно щупальцы пестрого полипа. Но нигде Гадский не видел ясного голубого пятна, в которое он мог бы безбоязненно швырнуть свою гранату.

И он стоял в нерешительности, как вдруг услышал справа от себя отрывистый, как ракета, крик. Прерываясь от невыразимого ужаса, знакомый голос кричал: „Нет!.. Нет!.. Нет!..“ Гадский увидел упавшего на колени „комического певца“, которого волочил, ухватив его за шиворот, огромный француз; через секунду он опрокинул его на землю и побежал к другой кучке схватившихся друг с другом врагов. К портному подскочил чернобородый человек и, наступив на его упавшее ружье, замахнулся на несчастного прикладом своей винтовки.

— Н... — попытался еще раз крикнуть „певец“.

В свою очередь, и Гадский невольно открыл рот, чтобы испустить тот же крик... Он хотел броситься товарищу на помощь, но остался пригвожденным к месту, увидев, как приклад с силою опустился вниз. Дикий, бешеный рев вырвался из

его груди, когда удар пришелся „комическому певцу" прямо в лицо!.. Гадский оставался в неподвижности не больше секунды: почти в то же мгновенье полетела со свистом его граната, и радостное облегчение охватило его конвульсивно напряженные члены, когда он увидел, как чернобородый человек повалился ничком. Но в течение этой одной секунды Гадский глубоко запомнил разможженное лицо портного. Эти черты, которых так страстно ждали родные и которые, каждый день, они покрывали мысленно поцелуями, — эти черты были теперь сплошной зияющей раной. Эта рана поглотила все: и глаза, еще минуту назад полные мольбы, и большой нос — предмет стольких насмешек; все это было лишь залитым кровью куском мяса, обрамленным кое-где зубами и черными волосами!

Бессознательная, сверхчеловеческая сила снова воспламенила гнев Гадского, яростный, безумный, переходивший в бурные рыдания; гнев против тех, кто, допустив эту войну, мирно отходил каждый вечер ко сну или спокойно занимался своими обычными делами, в то время, как здесь творились такие ужасы, в то время, как ружейные приклады обрушивались на человеческие лица!.. И хотя его руками и глазами руководил сидевший в нем чужой человек, беспокоившийся только о жизни Георга Гадского, но в глубине его души клокотал гнев, воспламенявший его сердце и мозг, гнев против тех, кто красивыми словами оправдывал все происходившее, гнев против отцов, которые, потеряв детей, все же восторгались этой бойней, как великим и святым делом!

Быстро летели, одна за другой, гранаты Гадского в гущу неприятельских солдат. Он видел, как они

падали, сраженные. Но в то время, как острое желание жить вкладывало в его руку новый снаряд и до боли напрягало его мышцы, горе и отчаяние обливали слезами его щеки и рот. Он изрыгал, в такт своим летевшим гранатам, брань и проклятия, он бессвязно бормотал слова возмущения, говорившие о его ненависти:

— Люди!.. Отцы!.. Кровавая клоака!.. Негодяи!.. Мерзавцы!..

Снаряды Гадского были на исходе; он уже раскачивал предпоследнюю гранату, когда его внутренний защитник снял с его глаз закрывавшую их завесу слез и показал ему свирепые лица врагов, неожиданно обернувшихся в его сторону, откуда на них неожиданно обрушилась грозная опасность. С быстротой молнии Гадский поднял с земли свое ружье и бросился навстречу своим палачам. Содрогаясь всем телом, слепой и глухой, безумный и страшный, он ударял и бил, не сознавая, куда попадал его приклад; без передышки наносил он могучие удары, не видя перед собой ничего, кроме своей собственной жизни, окруженной безжалостными убийцами, жаждавшими ее уничтожить и задушить, кровожадными мясниками, хотевшими изрубить его лицо, изуродовать его, превратить в кровавую массу, сделать неузнаваемым... Нет, он отвоюет свою жизнь, он вырвет ее из их когтей! Она останется у него!.. И он бил, ударял, топтал ногами... пока, наконец, вокруг него не воцарилось молчание... Он остался один — с дрожью в коленях, один — с бурно вздымавшейся грудью, один — с кипевшей кровью в напряженных жилах.

„Спасен? — радостно подумал Гадский. — Спасен?“ Он не решался осмотреться и не хотел

взглянуть, какой тяжелый и теплый предмет давил ему ноги и парализовал их движения... „Спасен?“— думал он, полный и сомнения и надежды. Он ощупью искал точку опоры, чувствуя, что больше не выдержит и свалится среди невероятного шума и грохота бушевавшей вокруг него рукопашной схватки...

Вдруг слух Гадского поразили раздавшиеся вдали знакомые звуки. Снова приближалась ликующая песнь и сразу заставила его выпрямиться и укрепила его ноги.

„Allons, enfants de la patrie“... — гремела сотня свободных и сильных голосов. Гадский поднял голову и увидел, что по полю смерти на него надвигалась новая голубая волна. На одно мгновенье им овладело невыразимое отчаяние, и он бессильно опустил руки. Но затем он решил сдаться, и в его глазах мелькнула тень надежды. Ведь, он исполнил свой долг! Его ладони, руки и плечи, все его тело было покрыто кровью; его кожа и одежда висела на нем клочьями; его боевые запасы иссякли. Он имел право сдаться!

А капитан?

Ненависть Гадского к этому суровому и упрямому человеку возросла еще больше при мысли, что он мог бы расстрелять и его. Где он? Жив ли он?

Гадский обежал наудачу взглядом усеянную убитыми и ранеными землю. Он заметил, что на правом фланге все еще сражалась последняя кучка серых и голубых мундиров; безжалостная борьба шла там на самом краю рва; иногда люди падали на его дно, но и там они продолжали истреблять друг друга, о чем говорили подымавшиеся снизу ужасные вопли побежденных.

Гадский колебался. Броситься ли ему еще раз в битву? Рискнуть ли еще раз своей жизнью?

Нет! Французы, наседавшие здесь на противника, напрасно пели свой воинственный гимн: они были в десять раз сильнее тех нескольких человек, которые, совершенно выбившись из сил, все еще защищались зубами и кулаками! Сам капитан не мог бы потребовать...

Кучка сражавшихся приблизилась, между тем, к Гадскому. Он заметил, что ряды ее поредели, обнажив центр. Еще через несколько мгновений он уже мог различать отдельных бойцов, и тогда им овладели гнев, жалость и отвращение при виде четырех немцев, израненных, истерзанных и безнадежно боровшихся с многочисленной сворой врагов. Там был и капитан, напоминавший затравленного собаками кабана. Его разорванный в клочья мундир уже не держался на его теле; сорванная с черепа кожа свисала на лоб и прикрывала его правый глаз, а левый, налитый кровью и остекляневший, вылезал ему на лицо, потерявшее человеческий облик. Со всех сторон на него сыпались удары. Он защищался обломком сломанного ружья, задыхаясь от ярости, с кровавой пеной во рту...

Должно быть, постепенно усиливавшееся пение новой голубой колонны долетело и до его ушей, потому что он неожиданно крикнул, поднял голову, и принялся... не петь, а скорее визжать фальцетом: „Deutschland über alles, über alles“...

Словно подхваченный невидимыми могучими руками, Гадский устремился в середину схватки. Контраст между одиноким голосом капитана, таким жалким и слабым, и мощным хором неприятеля

захватил его с такой силой, что он проникся жалостью к бесполезным усилиям несчастного и перестал колебаться. Он побежал вперед, давя своими ногами скользкие и упругие трупы... Но на полдороге он резко остановился, и пронзительный крик замер у него в горле:

— Берегитесь, капи...

Слишком поздно!

Высокий француз, — тот самый, который убил портного, — выскочил незаметно из окопа и вонзил свой штык капитану в спину. Гадский видел, как блестящее острие высунулось из его груди, близ горла... Он заметил, словно в тумане, как капитан, подхваченный на штыки другими, повис на одно мгновенье в воздухе, с распростертыми руками и ногами, как большое X... Гадский быстро повернулся к голубому потоку, бросил свое ружье и стал думать о словах, которыми он встретит нападавших. Он принял важный вид и вытянул вперед голову, отыскивая, с упорной надеждой, знакомые лица среди тех, кто несся впереди волны, наподобие брызгавших перед нею капель.

Вдруг у Гадского явилось ясное предчувствие, страшная уверенность, что ему грозила совсем близкая опасность. Кучка врагов, только что покончившая с капитаном... та, среди которой был и высокий француз... она, ведь, находилась позади него! Он быстро обернулся и увидел высоко над собой что-то голубое... увидел, как тонкое обнаженное лезвее быстро устремлялось ему в грудь... Он откинулся назад и обеими руками схватил зверя за голову.

А! он его укусил! Гадский почувствовал невыносимую боль в ладонях и раскрыл их, обожжен-

ный вдруг мыслью: „Руки!.. Никогда больше... никогда больше он не сможет играть!“ И он расжал кулаки, чтобы посмотреть, свершилось ли уже несчастье...

Как в тумане, перед ним мелькнули два красных пятна... Он ощутил треск, оглушительный скрежет, словно всю его челюсть превратили в кашу... что-то загремело за лбом, в черепной коробке... Усталая голова осела в плечи... И темная ночь покрыла Гадского...



СОДЕРЖАНИЕ.




ЗНАНИЕ
СИЛА
РСФСР

